

ВИКТОР  
**ПРОНИН**  
СМЕРТЬ  
**ПРЕЗИДЕНТА**



ЛУЧШИЕ РОМАНЫ  
ОТ СОЗДАТЕЛЯ  
«ВОРОШИЛОВСКОГО  
СТРЕЛКА»



Виктор Пронин  
**Смерть президента**

«ЭКСМО»

1997

## **Пронин В. А.**

Смерть президента / В. А. Пронин — «Эксмо», 1997

Угрюмая фамилия Пыелдин как нельзя лучше подходит этому человеку – матерый рецидивист, тертый в лагерных зонах зэк, дерзкий авантюрист, он совершает потрясающий по изобретательности побег из «крытки», причем не один, а с целой группой заключенных. А дальше... Нет, не погоня, а грандиозная карьера, где деньги, слезы, любовь, пьянящая сладость власти выводят наконец зэка Пыелдина на вершину пирамиды власти. Не бывает? Еще как бывает...Ранее роман выходил под названием «И кровь, и деньги, и любовь».

© Пронин В. А., 1997

© Эксмо, 1997

## Виктор Пронин

# Смерть президента

*Человечество делится на террористов и заложников. Причем человек может быть одновременно и обреченным заложником по отношению к одним людям, и безжалостным террористом по отношению к другим. Чаще всего так и случается.*

*Автор*

Аркадий Константинович Пыёлдин.

Да, по документам, собранным в многочисленных уголовных делах, его звали именно так. А в быту, на нарах, в тюремных коридорах, на лесоповалах проще – Каша. От слова Аркаша. Почти всю свою сознательную жизнь Пыёлдин был эком. Сидел он часто и по самым различным поводам. Не стоит перечислять номера статей, по которым ему пришлось отсиживать. Главное в другом – Пыёлдин постоянно думал только о побеге. Ни о чем другом думать он просто не мог.

Да и не хотел.

В мыслях, во сне, в бреду, в разговорах у него была одна тема – побег.

Конечно, целеустремленность, отчаянная безрассудность, опять же богатейший опыт всевозможных отсидок рано или поздно давали ему возможность для побега. И он убегал.

Естественно, его отлавливали, а как человека простодушного и непосредственного, отлавливали куда быстрее и успешнее прочих. И возвращали на прежнее место, а то и в более суровое, не забывая при этом за нарушение режима добавлять годик-второй к сроку. Так уж получилось, что последние десять лет его судили за одни лишь побеги. Не бегай он из мест заключения, давно бы вышел на свободу на законном основании.

Но, похоже, Пыёлдин этого и не желал.

И постепенно, с годами, весь смысл его жизни свелся к двум вещам – побегам и прятыванию. Побегу ему удавались, и неплохие побеги, красивые, можно сказать. А вот прятаться Пыёлдин не умел, натура подводила. Уж очень ему хотелось рассказать, какой он ловкий, шустрый, неуловимый, как здорово всех облапошил и удрал из таких мест, откуда никто никогда не удирал. Стукачи исправно отработывали свой хлеб, местопребывание Пыёлдина тут же становилось известным всем заинтересованным службам, его засекали, брали под белые руки и возвращали на еще не остывшие нары.

Сказать, что Пыёлдин очень уж убивался, страдал и каялся?..

Нет, не было этого.

Огорчался?

Да, огорчался, но не более того. Перед ним открывалась новая возможность посмеяться над охраной, восхититься собой. Побегу стали для Пыёлдина чем-то вроде наркотика, он просто стремился повторять их снова и снова. Но для этого необходимо было снова оказаться в заключении...

И он там оказывался.

Начальник тюрьмы Суковатый, получив в свое распоряжение Пыёлдина, внимательно ознакомился с его делом и, конечно же, принял меры – усилил охрану, определил Пыёлдину особый режим, чтобы тот постоянно чувствовал на себе глаз настороженный и суровый.

Авторитеты в камерах выясняли непростые свои отношения, кого-то били, кого-то «опускали», возводили в воровские ранги – Пыёлдина это нисколько не интересовало. Его самостоятельность признавали и не трогали. Он сидел в сторонке, уважительно слушал, но в разговоры не вмешивался. При этом все знали, что если уж бежать, то только с Кашей, Каша в побеге незаменим, там, где Каша, – там успех, победа и в конце концов свобода.

Пыёлдин подолгу смотрел в зарешеченное окно, и взгляд его был задумчив и затуманен. К новичкам он относился с неизменным уважением, расспрашивал о жизни, интересовался прежними занятиями, увлечениями, друзьями. Расспрашивал подробно, даже с некоторым пристрастием. Те поначалу настораживались, но им объясняли, что Пыёлдину можно довериться, не подведет, не предаст.

Обнаружив как-то среди новеньких бывшего фокусника, Пыёлдин несколько дней ходил воодушевленный, посматривал на всех хитро, с прищуром, но потом сник – не смог придумать, как использовать для побега уникальные способности циркового мага и волшебника. Фокусы тот показывал охотно, но свободу они нисколько не приближали.

– Ну что, Каша! – окликали его угрюмые и насмешливые. – Когда назначаешь побег?

– Да вот стемнеет... И рванем. Нас уже ждут.

– Кто ждет-то?

– Верные люди, – заверял Пыёлдин. – И столы накрыты, и банька протоплена.

– А девочки в сборе?

– До отвала девочек, – заверял Пыёлдин.

Эки весело смеялись, толкали друг друга острыми локтями, взбрыкивали ногами, потому что даже самые дикие мечты о свободе все-таки грели их непутевые души, позволяли произнести слова, от одного звучания которых хотелось улыбаться и смотреть в небо – банька, накрытые столы, девочки... Хотя какие девочки? Все прекрасно понимали, что речь идет об измордованных жизнью мясистых тетках, согласившихся ждать их, пугливых и хмурых.

И вот однажды, знакомясь с прибывшим пополнением, Пыёлдин обнаружил среди воров и мошенников... Да, бывшего вертолетчика. Как-то он там, на воле, злоупотреблял служебным положением, использовал дорогую машину в личных целях, обогащался, перебрасывая в недоступные места коров и коз, доски и песок, а однажды даже каких-то хмырей от погони спас. И, конечно, попался, на радость Пыёлдину оказался с ним в одной камере на соседних нарах.

– Так, – сказал Пыёлдин просветленно. – Так, – повторил он и обвел сокамерников взглядом шалым и обнадеживающим.

– Забрезжило? – спросил его старый громила Козел и подмигнул остальным обитателям помещения. Потешимся, дескать.

– Раздайся море – говно плывет! – ответил с достоинством Пыёлдин. Слова эти были не всем понятны, но столько в них было уверенности и пренебрежения к тяготам окружающей жизни, что сокамерники, переглянувшись, смолкли. Пыёлдин, спрыгнув с нар, азартно прошелся по кругу непередаваемой своей походкой – полуприсев, согнув руки в локтях, двигая ими взад-вперед и играя плечами. Радостное возбуждение охватило его, и, не сдержавшись, все так же пританцовывая, подошел он к вертолетчику и расцеловал в обе небритые щеки. И хотя не было нигде вокруг вертолета, да и быть не могло, хотя сам вертолетчик Витя сидел на нарах, тоскливо глядя в зарешеченное окно, что-то изменилось в мире, потянуло свежим ветерком свободы, и Пыёлдин первым почувствовал этот еле уловимый, нежный сквознячок. Исходил он от мордатого Вити, который смотрел на Пыёлдина подозрительно и настороженно.

А мысль Пыёлдина продолжала работать в заданном направлении – есть вертолетчик. Значит, вывод может быть единственным – нужен вертолет. «Нужен вертолет!» – твердил себе Пыёлдин, но ни слова никому не говорил. Знал, твердо знал – есть в камере стукачи, и стоит ему обронить одно неосторожное словечко, как оно сразу станет известно Суковатому, начальнику тюрьмы. И любой его план, самый тонкий и замысловатый, рухнет в тот же момент.

Такой план у Пыёлдина возник – именно тонкий и замысловатый.

Но требовалась встреча с начальником тюрьмы. Предлог годился любой. И Пыёлдин начал добиваться такой встречи, хотя надежды на успех было немного. Но дошел, дошел до Суковатого слух, что беглец-профессионал Пыёлдин хочет с ним повидаться. И наконец наступил день, наступил час, когда Суковатый согласно кивнул большой кудлатой головой.

– Ладно, – сказал он. – Ведите. Посмотрю, что за хмырь.

Большого впечатления Пыёлдин никогда не производил, а тут и вовсе показался Суковатому каким-то мелковатым, жуликоватым, даже трусоватым, что, в общем-то, действительности не соответствовало. Но Суковатый этого не знал и с легким пренебрежением, с чуть заметным недовольством наблюдал, как Пыёлдин, потоптавшись у двери, сам подошел к окну и выглянул во двор, что само по себе уже было наглостью. Но Пыёлдин тут же спохватился и снова замер у двери, скрестив руки в нижней части живота.

– Ну? – сказал Суковатый. – И что?

– Мыслями хотел поделиться, гражданин начальник, – смиренно произнес Пыёлдин.

– Чем? – отшатнулся начальник от стола.

– Лежишь вот так ночью на нарах, а мысли идут, идут... И не знаешь, что с ними делать. –

Пыёлдин подкатил глаза к потолку и на некоторое время замер в позе униженной и печальной.

– Насколько мне известно, мысли у тебя могут быть только об одном, – усмехнулся Суковатый и весело подмигнул конвоиру, который доставил Пыёлдина из камеры.

– Думаете, о бабах? – Пыёлдин расчетливо опередил начальника и сразу сбил того с подозрения о побеге. – Ошибаетесь, гражданин начальник. Очень крепко ошибаетесь.

– Неужели?

– Какие бабы, – вздохнул Пыёлдин.

– О чем же твои мысли?

– О пользе дела.

– Надо же, – крутнул головой Суковатый. – Где же, в какой области человеческой деятельности ты решил принести пользу?

– В воспитательной области.

– Так, – крикнул Суковатый. – Продолжай.

– В тюремной, – добавил Пыёлдин.

– Одобряю. Говори.

– Предложение мое заключается в том, чтобы исключить самую малую возможность побега заключенных, подследственных, подозреваемых... И прочих, которых вы призваны охранять по долгу службы.

Пыёлдин произнес все это с такой скорбью в голосе, посмотрел на Суковатого так честно и проникновенно, что тот устыдился дурных мыслей об этом несчастном человеке.

– Ты считаешь, что охранные меры недостаточны?

– Видите ли, гражданин начальник... Охранные меры, это как деньги – их никогда не может быть слишком много. Они никогда не могут быть излишними. Если есть возможность повысить, укрепить, предусмотреть, значит, надо повысить, укрепить и предусмотреть.

Суковатый опустил голову, поправил телефон на столе, сдвинул в сторону календарь. Взгляд его был озадаченным и смущенным.

– Не понимаю я тебя, Пыёлдин, – сказал он. – Не понимаю. Всю жизнь ты бегал, как поганый заяц...

– Когда-то надо и остановиться. – Пыёлдин потупил глаза.

– Так... Это мне нравится. Наконец-то ты решил взяться за ум... Я уж, честно говоря, и не надеялся. Приветствую. Одобряю. Что предлагаешь?

– Я присяду? – спросил Пыёлдин.

– Садись. Хотя, как мне кажется, ты уже давно сидишь? А? – Суковатый расхохотался.

Пыёлдин к шутке начальства не присоединился, на стул у двери сел молча, с самого краешка, но с достоинством.

– Значит, так, – он в волнении потер ладонями по коленкам. – Смотрю я как-то в окно камеры... И что же вижу?

– Действительно, что же ты видишь?

– Я вижу, как по полю электрики тянут высоковольтную линию... Мачты ставят, катушки с кабелем подвозят...

– Предлагаешь по нашей колючей проволоке высокое напряжение пустить? – посуровел Суковатый. От гнева он даже со своего стула приподнялся и тяжело навис над тщедушным Пыёлдиным.

– Упаси боже! – замахал руками Пыёлдин. – Как вам такое только в голову могло прийти, гражданин начальник?! – От охватившего его ужаса Пыёлдин руками прикрыл лицо. – Это же негуманно, это не по-нашему... О другом речь, совсем о другом... Вы видели, какие мачты устанавливают? Красота! Настоящая сталь, прекрасный уголок, серебристая краска... Солнце из-за тучки выглянет – глазам больно смотреть на эту мачту... Сверкает будто в инее... Хотя некоторые мачты, как я заметил, с нарушением сделаны. Не годятся они для высоковольтной линии... Размеры сварщики не соблюли, доставили небрежно, конструкции смяты, изломаны...

– Ничего не понимаю! – Суковатый беспомощно посмотрел на конвоира, но и тот бестолково развел руками. – Дурака валять пришел? Какие мачты, какие размеры? Что ты несешь?!

– Мысль моя устремляется дальше, гражданин начальник, мысль моя не стоит на месте, – ответил Пыёлдин, делая успокаивающие взмахи ладошками. – Вот бы эту, не совсем пригодную для монтажников мачту установить на крыше нашего здания, а? Стены бетонные, перекрытия из плит, выдержат. И взметнется красота неписаная на двадцать метров вверх! А!

– А на фига? – настороженно спросил Суковатый. От напряжения мысли он взмок и вытер лоб платочком.

– Как?! – вскричал Пыёлдин потрясенно. – Вы не хотите?!

– На фига? – угрюмо повторил Суковатый.

– Установить мачту на угол здания, в самом верху наварить площадочку для часового, сделать навес, чтоб не мок он там под дождем, чтоб не заметал его снег, протянуть свет, установить прожектор... Вся тюрьма как на ладони! Мышь не пробежит незамеченной! А если какое нарушение, если кто задумает перебросить через забор водку, деньги, наркоту отвратную, чай для чифира... Вам тут же будет известно! Все тут же будет лежать на вот этом столе. А мачта, о, какая мачта! – Пыёлдин, обхватив голову руками, некоторое время раскачивался из стороны в сторону. – Это не мачта, а мечта! Она же светится, она украсит нашу любимую тюрьму и придаст ей вид нарядный, но в то же время бдительный, неприступный. Начальство ваше как увидит – сразу устыдится! Дескать, как сами не додумались! И ваш опыт распространит по всем тюрьмам Содружества! – Пыёлдин обессиленно откинулся на спинку стула и неотрывно смотрел в глаза Суковатого, призывая все свои внутренние силы повлиять на начальство, внушить ему восторг, чтобы не отказал Суковатый и принял бы его предложение.

– Ну, хорошо, – недоверчиво протянул тот. – Скажи тогда, будь добр... А чего это ты, вечный бегун, вдруг предлагаешь меры по устранению побегов?

– Устал я, начальник... Сколько можно бегать... И потом, подумал... Вдруг потеплеет у вас на сердце, и в моем деле вы пару добрых слов запишете... Дескать, вел себя пристойно, порядок не нарушал, даже заботился... Глядишь, оно мне и зачтется, а?

– Хм, – Суковатый поднялся, вышел из-за стола, остановился у окна. И в самом деле увидел, как через пустырь, мимо тюрьмы, на окраину города и дальше в степь протянулся длинный ряд мачт. Хорошие мачты, вынужден был признать Суковатый, высокие. И устойчивые. Если все грамотно рассчитать, забетонировать болты, то установить такую мачту можно без особого труда. И ступеньки можно наварить, и площадку с перильцами, и для прожектора место найдется... – И как это тебе в голову пришло? – Суковатый подозрительно посмотрел на Пыёлдина, который, зажав ладони коленями, молча раскачивался из стороны в сторону.

– Я же это... Старый по этому делу... Монтажник не один год оттрубил. – Пыёлдин кивнул в сторону окна.

– Да? – удивился Суковатый. – Что-то я в твоей папке об этом не читал.

– А что там напишут, – горько произнес Пыёлдин. – Украл, обманул, сбежал... Хорошее разве увидят, разве отметят? Наоборот... Если и есть что-то в человеке достойное, обязательно вычеркнут.

– Ладно тебе жаловаться! Кому-кому, но уж тебе-то грех...

– Я не жалуюсь... Живу и живу, – смиренно произнес Пыёлдин и отвернулся с безнадежностью во взоре.

– Отведи его, – сказал Суковатый конвоиру.

– Хоть дело предложил? – осмелился спросить Пыёлдин, уже переступив порог.

– Разберемся, – сухо ответил начальник тюрьмы.

– Как скажете. – И Пыёлдин вышел, осторожно притворив за собой дверь.

Но увидел в последний момент, увидел все-таки – задумался Суковатый. Еще дверь была приоткрыта, а он уж к окну потянулся. «Значит, будет прикидывать, глядишь, позвонит кому-нибудь, узнает, кто работы ведет», – удовлетворенно подумал Пыёлдин. Знал он, что начальник самолюбив и тщеславен. Если уж подвернется ему возможность заслужить похвалу от руководства – в кровь расшибется, а такого шанса не упустит.

Прошла неделя, вторая. Пыёлдин заскучал, решив, что затея с серебристой вышкой сорвалась. Монтажники уходили все дальше, они уже миновали окраины города, а начальник тюрьмы ничего не предпринимал, и, хотя беседы Пыёлдина с вертолетчиком продолжались, дело не двигалось.

И вдруг...

Возвращаясь однажды от следователя, который допрашивал его чуть ли не через день, все пытаясь вызнать какие-либо подробности давнего его заблуждения, Пыёлдин увидел, как во двор тюрьмы медленно въезжает тягач, а на прицепе... Да! Сверкает-искрится мачта для высоковольтных линий электропередачи.

О, какой радостный вопль раздался в душе Пыёлдина! Но виду он не подал, в камеру вошел уныло, не произнеся ни слова, забрался на нары и отвернулся к стене, чтобы даже по взгляду никто не догадался об истинном его состоянии. Пыёлдинский план, несмотря на всю фантастичность, начал осуществляться. Все и сейчас могло сорваться, свобода была так же далека, как и прежде, но что-то в мире произошло, что-то сдвинулось, зашевелилось, будто легкий предгрозовый ветерок пробежал по листве, запыленной и поникшей.

На следующий день во время прогулки по тюремному двору Пыёлдин прошел мимо мачты, вроде равнодушно прошел, взглядом сумрачным и забытым скользнул вдоль всей ее длины и, не замедляя шага, поволокся дальше, чтобы даже у конвоира не возникло желания сделать ему замечание, подтолкнуть, поддать сапогом под тощеватый зад. И потом, не исключал осторожный Пыёлдин, что Суковатый в этот самый момент смотрит на него из своего окна – любил начальник тюрьмы с высоты третьего этажа понаблюдать за перемещениями по двору людей, машин, грузов.

– И ладно, – пробормотал Пыёлдин. – И хорошо. И пусть.

Мачта оказалась явно короче, чем он предполагал, конечно, не было в ней двадцати метров, в лучшем случае двенадцать. Но это неплохо – окажись мачта и в самом деле двадцатиметровой, Суковатый мог бы отказаться от затеи, побоялся бы, что она ему всю тюрьму разрушит. А так вполне нормальная, можно сказать, даже скромная длина. И установить ее на углу здания можно без всякой опаски на зависть всем тюремщикам ближнего и дальнего зарубежья.

В тот же вечер связался Пыёлдин с волей, изловчился передать с адвокатом записочку, чтоб, дескать, ждали его, чтоб подготовили все, что требуется, в достаточном количестве. Имелся у него такой адресок, были верные люди, которые знали твердо – отлучился Каша ненадолго, скоро пожалует. То-то будет радости, то-то выпьют ребята за удачу его, за отчаянную пыёлдинскую душу, за нестареющий нрав. Млел и наслаждался Пыёлдин, отвернувшись

к стене, все в нем ликовало, пело и ходуном ходило, но сокамерники видели только узкую, скорбную спину да стриженный затылок.

Конечно же, никогда в жизни Пыёлдин монтажными работами не занимался, не приходилось ему ни мачты устанавливать, ни бетонировать болты, но он надеялся на свою смекалку, прикидывал, как найти человека, который бы хоть немного разобрался во всей этой премудрости. Если, конечно, дело дойдет до сооружения вышки, если не остановится Суковатый в своем стремлении выделиться среди прочих начальников тюрем, которых немало разбросано по всей земле – унылых и забитых, без полета, дерзости и стремления. А вот Суковатый... О, этот Суковатый!

И наступил день, когда Пыёлдин понял, что удача не отвернулась от него, не покинула его в жизни бестолковой и преступной. Да он и сам изо всех сил старался не вспугнуть ее громким голосом, несуразным словом, даже надеяться на нее считал грешным делом. Притих Пыёлдин, вроде бы даже смирился, и взгляд его сделался приветливо-затаенным, и все поведение, может быть, даже незаметно для него самого, стало вкрадчивым, по-кошачьи мягким. Люди, хорошо знавшие Пыёлдина, могли бы уверенно сказать, что не к добру это, что на изготовке Пыёлдин и лишь выжидает момент, чтобы совершить новый умопомрачительный прыжок. Но таких людей в этой тюрьме, в этой камере не нашлось, и потому все решили – сломался Пыёлдин, не выдержал многолетних тюремных тягот. И никому в голову не приходило, что никогда еще не был он так воодушевлен, никогда так полно не охватывал его порыв безрассудный и отчаянный.

– Пыёлдин! – заорал дурным голосом конвоир, как-то заглянув в камеру. Заорал так, что все ее обитатели вздрогнули от неожиданности. – Есть такой?

– Ну? – подал голос Пыёлдин.

– На выход!

– С вещами?

– Ха! Рановато тебе еще с вещами... Лет через десять вызову с погаными твоими вещичками... Если будешь хорошо себя вести. В следующем тысячелетии выйдешь.

– Говорят, скоро конец света наступает, – пробормотал Пыёлдин, соскальзывая с нар. – Все избавление...

– Тебя это не касается! Не надейся. Ишь, размечтался! Если конец света и состоится, то не для тебя... Ты свое отсидишь в любом случае.

– Дай бог, – пробормотал Пыёлдин, семена к выходу и на ходу натягивая фуфайку.

– Что-то не нравишься ты мне, Пыёлдин, какой-то ты сегодня не такой, а?

– Годы, – Пыёлдин развел руками. – Годы... С ними не поспоришь. Кого угодно к земле пригнут. Куда идем-то?

– Начальник вызывает.

– Это хорошо.

– Работу хочет важную поручить.

– Работа всегда в радость! – не сдержавшись, воскликнул Пыёлдин. – Работой нас не запугаешь!

– Ну, ты даешь! – покачал головой конвоир, хорошо знавший о многочисленных отсидках зэка. – Кто же тебе раньше-то мешал отдаваться работе без остатка?

– Да ваш брат и мешал... Бывало, только соберешься, только настроишься на ударный труд, а вы уж тут как тут... «Руки вверх! – кричат. – Стрелять буду!» Собаками травят, руки вяжут, запихивают в какие-то кутузки на колесах... Какая работа, если руки связаны?

– Ну, ты даешь, – повторил конвоир. – Хитрый ты мужичок, как я посмотрю, ох, и хитрый... С тобой надо ухо остро держать.

– Держи, – кивнул Пыёлдин и тут же спохватился – если даже этот мордорот что-то заподозрил, если уж он считает его хитрецом и пронирой, то останавливаться надо срочно.

И Пыёлдин замолк. На все слова конвоира лишь печально качал головой не то осуждающе, не то безразлично.

– Давно не видел тебя, Пыёлдин! – встретил его Суковатый напористо и улыбочиво. – Где пропал?

– Делом был занят.

– Каким?! – поперхнулся начальник.

– Срок отбывал.

– И как?

– Нормально... Идет срок. Совсем немного осталось.

– Говорит, конец света ожидается, – доложил начальству конвоир. – Дескать, стены рухнут, мертвецы из могил поднимутся... Надеется среди них и затеряться.

– Точно? – переспросил Суковатый.

– Как получится, – уклонился от ответа Пыёлдин. – По-разному может получиться...

– Не советую, – поморщился Суковатый. – Не советую, – добавил он, помолчав. – Лучше уж в тюрьме, но среди живых. Покойники... Они ребята странные, никогда не знаешь, чего от них ожидать, в какую сторону их занесет, – Суковатый мрачно задумался, словно и в самом деле вспоминал о неприятных встречах в потустороннем мире.

– Наговаривает, – кивнул Пыёлдин в сторону конвоира. – Я сказал в том смысле, что вообще скорей бы конец... Устал я, начальник, сломался я...

– Неужто в самом деле?

– Похоже на то.

– Ты вот что, – строго проговорил Суковатый, нахмурившись. – Ты с этим делом кончай, погоди ломаться-то! Сделай порученное, а потом уж как захочется... Хочешь – ломайся, хочешь – кривляйся, на ушах ходи... Ишь! Как к работе, так он скорей ломаться! Не выйдет, Пыёлдин! На этот раз тебе не удастся никого объегорить!

– Ох-хо-хо! – вздохнул Пыёлдин.

– Мачту во дворе видел?

– Красивая мачта.

– Твоя затея... Радуйся!

– Я, конечно, извиняюсь... Но такая вот просьба... Вы не очень-то об этой мачте, об затее...

– А что такое? – насторожился Суковатый.

– Узнают ребята в камере... Вам новые расходы... Гроб, яма, музыка...

– Музыка?! – расхохотался Суковатый. – Ты надеешься на музыку?! Пыёлдин! На оркестр даже я не рассчитываю, а уж тебе-то... Значит, так! Я тебе такую музыку устрою... Из гроба встанешь! Попомни мое слово!

– Попомню.

– И заруби себе на носу.

– Да я бы и не возражал... Из гроба-то подняться... И никто бы не возражал.

– Ладно, хватит трепаться. Заладил, понимаешь, гроб, конец света, покойники по улицам бродят... Мачту надо ставить. Понял? Ты говорил, что по этому делу вроде как мастер, а?

– Говорил.

– Приступай.

– Вот так сразу? Кое-что требуется для работы...

– Что нужно? – Суковатый придвинул к себе календарь и взял ручку. – Говори, записываю.

– Крепежные болты...

– Анкерные?

– Называйте их как угодно... Любым словом. Я иностранным языкам не обучен. Крепежные болты бетонируются по углам. А потом, когда бетон схватится, на них, на болты то есть,

мачта надевается. И гайками прихватывается. Для прочности и от злого умысла гайки лучше тоже залить бетоном.

– А какой может быть умысел? – Суковатый напряженно приник к столу полноватой грудью.

– Ну, как... Возьмет какой дурак из шалости да и отвинтит... Мачта качнется, часовой с автоматом наверху потеряет самообладание, шмальнет очередью по окнам, десятки погибших заключенных, сотни раненых, тысячи сбежавших...

– Не пойму я тебя, Пыёлдин, – Суковатый облегченно откинулся на спинку стула. – То ли ты природный дурак, то ли прикидываешься от скуки, а?

– Не силен я в словах, начальник... Вот когда дело какое есть, когда работа настоящая – я в порядке, а в словах, может, и в самом деле дураком кажусь... Не дано мне этого знать. Помню, еще моя первая учительница всегда говорила...

– Ладно, – раздраженно прервал Пыёлдина начальник тюрьмы, почувствовав, что взнет, задыхается в этом бестолковом пререкании. – Дурак ты или нет, а работу надо выполнить. Про болты и гайки записал... что еще нужно для установки мачты?

– Бетонный раствор нужен. Не штукатурный, а именно бетонный. В городе должен быть бетонный узел – возьмете два-три куба, больше не понадобится. Вам дадут.

– И сколько же мне дадут? – побледнел от оскорбления Суковатый. – Год? Пять лет? Десять?

– Я не о том... Раствор вам дадут.

– А почему ты решил, что мне дадут?

– Ну как, – застеснялся Пыёлдин. – Начальник тюрьмы все-таки... Не хвост собачий.

– Что же из того, что я начальник тюрьмы? – продолжал допытываться Суковатый.

– Понимают же идиоты на бетонном узле, что каждую минуту могут оказаться в вашем полном распоряжении.

– Это почему же они должны так думать?!

– Потому что воруют. Сами знаете... Дай бог, чтобы каждый второй куб по разрядке шел, а то ведь где-то четвертый, пятый куб идет по назначению. Остальное на сторону. Рыночные отношения требуют... Вам они тоже вроде как на сторону отдадут. А вы здесь уже можете все с бумажками оформить, дескать, большие расходы понесли... Глядишь, кое-что на дачку перепадет.

– Слушай, ты! Пыёлдин! Говори да не заговаривайся!

– Вот выпишете не два куба, а все пять... И считайте, что фундамент для дачи у вас уже есть. Дело житейское... А на даче бетон всегда нужен – дорожка, яма сливная, в подвале работы... Мало ли... – Пыёлдин тоскливо смотрел в окно, всем своим видом давая понять, что все эти милые житейские хлопоты ему недоступны.

– На свой аршин меряешь! – гневно произнес Суковатый и опасно покосился на конвоира, который внимательно вслушивался в разговор. – Хорошо... Бетон. Уяснили. Что еще?

– Доски для опалубки... Тоже не мешало бы с запасом... Мало ли... Уголки железные для ступенек и перил... Железные листы для площадки... Прожектор...

– Записал!

– Ну, и это... Люди. Кадры решают все.

– Сколько?

– Человек десять, двенадцать...

– Ты что?! Совсем ошалел?! Может, тебе всю тюрьму в команду записать?

– Гражданин начальник, – Пыёлдин наконец осмелился взглянуть Суковатому в глаза. – Прикиньте сами... Какой из зэка работник? Думаете, носилки они будут вдвоем таскать? Ни фига! Вчетвером. Да еще один будет рядом идти и советы давать... Да-да! У носилок четыре ручки, и за каждую отдельный зэк будет двумя руками держаться. И потом... Ни один из них не

станет насыпать бетон на эти несчастные носилки... Для насыпания бетона нужно еще четыре человека... А плотницкие работы? А земляные? А кровельные? Думаю, что и двенадцати будет маловато... Но дело сделаем, – успокоил начальство Пыёлдин. – Сделаем дело. Как в лучших домах города Днепропетровска, – вздохнул от неизъяснимой тоски Пыёлдин.

– Где?

– Да это я так... К слову.

– Хорошо, – Суковатый опять что-то записал на листке отрывного календаря. – Это все семечки... Главный вопрос... Ты о главном подумал?

– Это о чем? – спросил Пыёлдин, и сердце его дрогнуло – разговор невольно скатился к самому важному.

– Как ты собираешься эту дуру наверх поднять? Как ее на болты насаживать?

Прозвучал, все-таки прозвучал вопрос, которого Пыёлдин опасался больше всего. Не потому, что не знал ответа, ответ он прекрасно знал с самого начала, боялся выдать себя блеском глаз, дрогнувшим голосом, неверным движением рук. Больше того, он опасался за свой организм, который мог неведомым образом послать сигнал тревоги организму Суковатого, и тот обо всем догадается, все поймет, прозреет, спохватится...

Заминка в разговоре возникла невольная и потому естественная. Суковатый по простоте душевной понял ее так, что Пыёлдин и в самом деле не подумал о том, как поднять мачту на третий этаж, как на крыше установить, как насадить ее на стальные болты. И потому терпеливо ждал ответа, давая возможность Пыёлдину поразмыслить, поприкинуть, попытаться что-то предложить.

– А что тут думать, начальник, – проговорил Пыёлдин, не поднимая головы, только руками развел, даже не руки у него в стороны пошли, одни ладошки. – Я так прикидываю – без вертолета не обойтись.

– Где же я тебе вертолет возьму? Ты чего несешь-то?

– Ха! – Этот вопрос был уже попроще, и Пыёлдин с облегчением поднял голову, посмотрел в настороженные суковатовские глаза. – Да любая воинская часть будет счастлива нам удружить.

– Кому это нам?

– Ну... Вам и мне, – совсем уже осмелел Пыёлдин и даже усмехнулся рискованности своей шутки.

– Это почему же она будет так счастлива?

– Да все потому же, начальник!

– Отвечай, когда спрашивают! – требовательно произнес Суковатый, чуть повысив голос.

– Так ведь это... Если им ревизию хорошую устроить... Половины автоматов не досчитаются, это уж точно.

– Где же у них автоматы?

– В Чечню продали, чего тут думать! Чем чеченцы воюют? Откуда у них гранатометы, танки, самолеты и прочее добро? Все попродали! Сам помню... – В этом месте Пыёлдин спохватился и умолк, опустив голову.

– Что ты помнишь? – протянул Суковатый. – Давай-давай, рассказывай все без утайки!

– Помню, в газете читал... Дескать, не очень бережно в воинских частях к личному оружию относятся... А вы что подумали?

– Ладно, читатель, – усмехнулся Суковатый. – Вертолет, говоришь, – он задумчиво уставился в окно. – Вертолет... Знаю, есть у ребят вертолет... И грузоподъемность позволяет... Придется поговорить. Надолго он нам понадобится?

– Если все будет подготовлено, если водила ихний не дурак, да еще и трезвым окажется, если болты удачно забетонируем... То за полчаса можно управиться.

– Полчаса?! – обрадовался Суковатый.

– А чего? Можно... Но по опыту знаю – уйдет не меньше трех часов... А то и больше.

– Три часа?! – ужаснулся Суковатый.

– Смотрите сами, начальник... Прилетит... Он что, сразу схватил и поволок? Нет. Ему, водиле, надо подняться на крышу, познакомиться с обстановкой, он должен осмотреть болты, чтобы знать, как повернуть мачту, каким концом ее опустить, где приподнять... Моя задача – все объяснить, растолковать, мордой его в болты ткнуть... А он поймет не сразу, с третьего захода начнет до него доходить... В лучшем случае... Потом закрепление тросов... И опять же не с первого раза. С первого раза тросы обязательно соскользнут, потому что зэки, должен вам сказать...

– Знаю, – нетерпеливо перебил начальник тюрьмы. – Говори дальше.

– То, что я перечислил, – это уже больше двух часов. Потом поднимать начнет...

– А чего там поднимать-то?

– Ну, как... То мимо пронесет, то трубу зацепит, то зависнет на такой высоте, что до него и не дотянуться... Сколько раз, помню, бывало на трассе... – Пыёлдин задумчиво уставился в зарешеченное окно, за которым полыхала синева свободного неба.

– Дальше!

– Вот так с третьей попытки и посадим. Тут же гайками зажмем, контрики закрепим... И дело сделано. Стоит, красавица, на зависть всем остальным тюрьмам государства. Но ведь надо еще троса отцепить, а это опять для водилы посадка на тюремный двор... Потом уже можно звать сварщика, дальше все проще... Наварить ступеньки, присобачить площадку, из арматурной проволоки перила сделать...

– И все?

– А там нужно и о банкете подумать.

– О каком банкете?

– Положено, начальник... Обновку обмыть надо... А то ведь завалится площадка в неурочный час, как пить дать завалится... Вы вот с руководством воинской части коньячку отведаете, а нам на обед по компоту выдадут за хорошую работу, – Пыёлдин горестно усмехнулся. – Мы свое место знаем, сделали доброе дело – и на нары, срок досиживать, хорошую характеристику зарабатывать.

– Да ладно тебе... Поднесу коньячку, так уж и быть, – Суковатый махнул тяжелой мясистой рукой. – За хорошую работу можно по сто грамм.

– Много доволен, – пробормотал Пыёлдин, пряча глаза. – Премного благодарен, – он еще ниже опустил голову, чтобы не заметил начальник тюрьмы дьявольского блеска в его глазах.

– Отведи в камеру, – приказал Суковатый конвоиру. – Пусть пока отдыхает, сил набирается.

Пыёлдин вышел, так и не подняв глаз. Заложил руки за спину, как положено, ссутулился, вперил глаза в крашенный бетонный пол и зашагал по знакомому до каждого гвоздя коридору в камеру, провонявшую всеми человеческими отходами, которые только можно себе вообразить.

\* \* \*

Следующие две недели прошли в напряженных подготовительных работах. Бригада из двенадцати человек, которых отобрал сам Пыёлдин, руководствуясь одному ему известными признаками, медленно, но верно продвигалась вперед, выполняя порученное дело.

Несколько дней сколачивали опалубку на крыше, закрепляли ее, потому сама по себе она стоять не могла и начала расползаться еще до заполнения бетоном. Зэки ворчали, Пыёлдин носился от подвала до крыши, покрикивал, что-то отмерял шагами, сбивался, начинал сначала. Видимо, в жизни ему не часто доводилось пользоваться рулеткой, если он вообще когда-нибудь держал ее в руках. Топор тоже валился у него из рук, молоток бил вкось, вгоняя

гвоздь в толстую доску так причудливо, что никогда нельзя было предугадать, куда гвоздь пойдет – острое вылезало в самых неожиданных местах, так что и вытащить его было непросто. Доски раскалывались, приходилось отпиливать новые, Суковатый ругался на чем свет стоит, поскольку доски эти, по его прикидкам, должны были остаться и отправиться в другое место, более милое его сердцу, нежели тюрьма, наполненная отвратительными зэками, от которых каждую минуту можно было ожидать какой-нибудь гадости.

Наконец, когда опалубка была готова, когда арматура была уложена внутри, бригада начала ведрами таскать бетонный раствор на крышу. К концу четвертого дня все четыре болта были залиты. Но когда к ним приложили фанерный трафарет, изготовленный внизу, у мачты, выяснилось, что дыры этого трафарета на болты не попадали. Их начали выворачивать из полужесткого бетона, сдвигать в стороны, к центру, и в конце концов добились – трафарет с грехом пополам наделся на болты.

Суковатый молча стоял у окна в своем кабинете и с подозрением присматривался к странной бригаде, которая время от времени схватывалась в яростном стремлении выяснить, как прибить доску, как забить гвоздь, с какой стороны зайти к опалубке, чтобы высыпать в нее ведро бетона. Конечно, будь Суковатый более образован в строительном деле, он бы надумил или уж в крайнем случае, расшвыряв бестолковых работничков, сам бы показал, как чего делать. Но он тоже никогда в жизни не занимался строительством, поэтому зэковский спор казался ему дельным и разумным.

Поздним вечером, когда все болты были заново залиты бетоном, строителей, пошатывающихся от непривычных усилий, развели по камерам. Все расходились молча, на Пыёлдина смотрели не столько со злостью, сколько с недоумением – никто не мог понять, зачем Каша ввязался в эту дурацкую затею, почему суетится, носится по этажам, какой во всем этом смысл?

Но Пыёлдин молчал.

Его материли так, как, наверное, никогда еще никого не материли на этой земле. Пыёлдин выслушивал гневные, в общем-то, справедливые упреки и кивал – дескать, все правильно, я с вами согласен, но надо бы еще десяток ведер свинцово-тяжелого бетона поднять на крышу. И только когда его уж совсем донимали, когда хватали за грудки и поднимали в воздух, готовые забетонировать вместе с опостылевшими болтами, он выставлял вперед свою натруженную за последние дни ладошку и проникновенно говорил:

– Вы не пожалеете... Сука буду, не пожалеете.

– Но ты, Каша, крепко пожалеешь, если все кончится компотом! – яростно вращая глазами, говорил ему вертолетчик Витя и вертел перед глазами бледного Пыёлдина громадным волосатым кулаком.

– Не пожалеете! – твердил Пыёлдин.

– Хоть бы харч давали человеческий! – орали ему в лицо. – Уродуемся с утра до вечера, а кормят бурдой. Жлоб твой Суковатый! Жлоб, каких свет не видал!

– Зэки! – торжественно шептал Пыёлдин. – Зэки, попомните мое слово... Не пожалеете.

– Говори, в чем дело! – требовали от него. Но здесь Пыёлдин был тверд и никакие угрозы на него не действовали. Видя такую непоколебимость, все убеждались, что у Пыёлдина действительно что-то на уме. И, ворча, снова брали ведра, медленно карабкались по перекладинам.

– Ну, Каша... рискуешь, – говорили ему.

– Знаю.

– Головой рискуешь!

– А у меня больше и нет ничего!

– Найдем еще кое-что, – заверяли его, и Пыёлдин прекрасно понимал, что это не пустые слова. Но понимал он и то, что малейшая его слабинка, самый невинный намек на истинный его замысел-умысел все разрушит. Не мог, ну просто никак не мог Суковатый оставить их всех без надзора, без бдительных ушей. Наверняка он изловчился приставить к ним стукача, кото-

рый доносит о каждом сомнительном слове, взгляде, вздохе. Но Пыёлдин настолько затаился в трепетном своем ожидании, что даже в небо боялся взглянуть лишний раз, чтобы не навести никого на подозрения. Да, в ясное, синее, просторное небо он смотрел крадучись, каждый раз находя для этого какое-нибудь оправдание, объяснение на случай, если кто спросит, чего, дескать, в небо уставился? Пыёлдин любовался небом, лишь когда никого не было рядом и никто не смог бы уличить его в этом сомнительном занятии – разглядывании белых облаков, пролетающих самолетов, верхушек деревьев за высоким забором, увитым колючей проволокой...

Пыёлдин знал, что единственный способ убежать из этой тюрьмы – взмыть в небо. В грохоте мотора, в мелькании лопастей, сливающихся в один почти невидимый круг, в будоражащем запахе бензина, в пыли, которая поднимется с тюремного двора и все покроет непроницаемой серой мглой – взмыть в ясное небо и унести, унести, унести!

К чертовой матери!

На свободу!

Пусть недолгую, жалкую, запуганную свободу, которая в конце концов добавит еще несколько лет к сроку, но унести!

Три мешка цемента приказал Пыёлдин утаить, спрятать в надежном месте, но рядом, недалеко, чтоб в нужную секунду оказались бы они под рукой. Сокамерники диву давались – на кой мужику цемент? Ведь не продашь его здесь, не выменяешь, не перебросишь через забор пятьдесят килограммов! Но в действиях, в словах, даже в молчании Пыёлдина была такая уверенность, доходящая временами до ожесточенности, что сокамерники, опытные и немногословные зэки, начали что-то понимать, вернее, догадываться – Пыёлдин явно имел какой-то дальний смысл, тайный замысел, коварный умысел.

И подчинялись.

Пыёлдина уже не пытались расколоть, перед его поганой мордой не потрясали карточной колодой, грозя проиграть его вместе с заношенными трусами. Каждое слово выслушивали даже с некоторым подобострастием, указания выполняли хотя и неохотно, но быстро, четко, молча. Правда, пытались, пытались заглянуть ему в глаза, надеясь найти там ответ и сразу все понять. А Пыёлдин глаза свои блудливые прятал, отворачивался, опускал голову, словно и в самом деле опасался, что по его нестерпимо синим зенкам можно было о чем-то догадаться.

Наконец пришло известие – завтра будет вертолет.

Все молча переглянулись и уставились на Пыёлдина. Напряженно, выжидающе, с некоторой опаской.

– Что скажешь, Каша?

– Мешки с цементом поднять из подвала и сложить наверху.

– Зачем? Каша, скажи, наконец – зачем?! – плачуще простонал Козел.

– И замаскировать пустыми бумажными мешками из-под того же цемента, – твердо произнес Пыёлдин.

И не добавил больше ни слова.

И ушел в железную будку, служившую бытовкой.

Два зэка, Козел и Хмырь, получив такое указание уже после рабочего дня, опять же молча посмотрели друг на друга, посмотрели в сутулую спину удаляющегося Пыёлдина и, вздохнув, направились в подвал. Покрякивая, выволокли один за другим три мешка цемента, сложили их один на другой и с облегчением отряхнули руки. Но тут вернулся Пыёлдин и негромко потребовал, чтобы все мешки были положены в ряд.

– Им что, так лежать неудобно? – спросил Козел с раздражением. – Может, им на попа хочется?

– В один ряд, – повторил Пыёлдин с бесконечным терпением. – И чтобы между мешками были небольшие просветы.

– Душно им, выходит? – подал голос Хмырь – длинный, рыжий, с красными воспаленными глазами, в которых давно угасли все чувства и желания, кроме одного... Впрочем, угасло и это, последнее чувство-желание.

– Да, – кивнул Пыёлдин, – они должны подышать. Между ними должен быть воздух.

Эки опять посмотрели друг на друга, как бы удивляясь – с кем только не приходится общаться, и положили мешки в ряд, с небольшим просветом примерно в ладонь.

– А теперь, – продолжал Пыёлдин все так же негромко и терпеливо, – возьмите вон ту скобу, я ее специально для вас приготовил, и вспорите мешки.

– На фига?! – взвился Козел – длинный, узкоплечий и весь какой-то постоянно взвинченный. Если бы он действительно был козлом, то наверняка бодливым.

– Только осторожно, чтобы не просыпался цемент.

– Слушай, Каша, – произнес Хмырь, – ты того... Кончай куражиться. Всему есть предел.

– Не пожалеете, – ответил Пыёлдин и направился к себе в камеру. А Козел и Хмырь, заглянув за угол, действительно обнаружили скобу с острыми зубьями и вспорили все три мешка, обнажив серый, мельчайшего помола сухой цемент. Не успели они снова отряхнуть руки, как сзади возник Пыёлдин – вернулся, не смог уйти, оставив что-то несделанным. Слишком большое значение в его планах играла каждая мелочь, каждый пустяк.

– Все? – угрюмо спросили эки.

– Еще небольшое дельце... Пошли. – И, не оглядываясь, Пыёлдин направился к бытовке, сваренной из ржавых железных листов. Сюда сваливали после работы лопаты, ломы, ящики с гвоздями, заносили сварочный аппарат. Тут же стоял стол, сколоченный из какой-то деревянной требухи – реек, держакот от лопат, обрезков прессованной стружки. По углам валялись банки из-под краски, окаменевшие кисти, сломанные носилки и прочий хлам. Войдя в бытовку, Пыёлдин внимательно осмотрелся по сторонам, подождал, пока подойдут поотставшие Козел и Хмырь.

– Ну? – сказали они одновременно. – Что еще?

– Значит, так... Легкий марафет. Задача ясна?

– Что это такое – легкий марафет? – спросил Хмырь.

– Лопаты в угол, носилки вынести, банки сложить с внешней стороны, пол подмести, стол починить, чтобы он хотя бы стоял на четырех ножках, а не на трех. Вопросы есть?

– Зачем, Каша? – простонал Козел.

– На работу пятнадцать минут. А то вон конвоиры уже заволновались... Проголодались ребята.

– А о нас ты подумал, Каша? – спросил Хмырь, чуть не плача от досады и непонимания происходящего.

– Все мои мысли о тебе, Хмырюга, все мечты. Да, банки выносить не надо, оставьте их в будке, но сложите в угол одну на другую, чтобы меньше места занимали.

– Зачем, Каша?!

– Знаете, как Суковатый обалдеет, когда увидит такой вот порядок! – воскликнул Пыёлдин и впервые за многие дни поднял голову и бесстрашно посмотрел сокамерникам в глаза. Взгляд у него был ясен, переполнен светлой радостью и надеждой на свободную, счастливую жизнь. Весь гнев и Хмыря, и Козла как-то исчез, испарился сам по себе.

– Ох, Каша... Доиграешься, – проворчали эки, но все сделали так, как потребовал Пыёлдин. Даже больше сделали – лавку поправили, хотели решетку с маленького окошка снять, но Пыёлдин не позволил.

– Пусть остается, – сказал он, склонив в задумчивости голову к плечу. – А вот ломы надо вынести.

– Пусть себе стоят! – полуобернувшись, не столько возразил, сколько попросил Хмырь.

– И лопаты тоже, – неумолимо продолжал Пыёлдин.

– А может... – начал было Козел, но не успел закончить, потому что в голосе Пыёлдина вдруг прозвучал такой скрежещущий металл, что зэки оторопели, но опять же сделали все как надо – ломы вынесли и сложили в сторонке, сверху побросали лопаты, гвоздодеры.

– Ну? – спросил Козел. – А теперь что? Опять вносить?

– Не надо, – твердо сказал Пыёлдин, не приняв шутки.

– А может, покрасить будку-то? – предложил Хмырь. – Может, тряпочкой ее протереть?

– Не надо, – повторил Пыёлдин. Войдя в бытовку и еще раз внимательно осмотрев ее, Пыёлдин широко улыбнулся. – Как приятно все-таки находиться в чистом, прибранном помещении! – воскликнул он, но тут же опасливо отошел в сторонку, потому что знал – за такие слова можно запросто схлопотать лопатой по заднице, если не по физиономии. Конвоиры уже махали руками, поторапливая работников, и Пыёлдин, воспользовавшись этим, трусой засеменил через двор. Следом за ним размеренно и хмуро зашагали Хмырь с Козлом.

Последнюю ночь перед побегом Пыёлдин не сомкнул глаз. Он изо всех сил старался сделать вид, что спит давно и беззаботно, но обмануть своих многоопытных сокамерников не мог. Да и как он мог ввести их в заблуждение, если поминутно переворачивался на другой бок, на спину, тяжело, с надрывом вздыхал, а то вдруг закидывал руки за голову и смотрел бессонными глазами в близкий потолок, выкрашенный какой-то грязно-неопределенной краской.

– Что, Каша, – усмешливо окликали его сокамерники. – Тяжело дается физический труд?

– Да нет, ничего... Жить можно, – отвечал Пыёлдин, не оборачиваясь. – Ничего.

– Нелегко с начальством дружить, да?

– Годы, – со вздохом отвечал Пыёлдин и этим ничего не значащим словечком как бы гасил интерес к себе и со стороны приятелей, и со стороны неведомых ему стукачей. А в том, что стукачи в камере были, он нисколько не сомневался. И потому постоянно делал поправку на них, на стукачей. Докладывайте, дескать, доносите, граждане хорошие, годы меня давят и гнетут, годы...

– В твои годы на воле давно пора быть, – усмеялся невидимый в слабом свете Хмырь.

– С твоим умом здесь тоже делать нечего, – отвечал Пыёлдин.

– Мой ум всегда при мне, – отчего-то злясь, произносил Хмырь.

– И годы мои тоже при мне, – улыбался Пыёлдин.

– Ну и заткнись!

– Если бы я был такой умный, как ты, я бы так не разговаривал, – поддразнивал Пыёлдин тугодумного Хмыря.

– А как бы разговаривал? – спросил тот после долгого молчания.

– Молчал бы.

– Что ж тебе мешает молчать-то?

– Да вот пристают по ночам всякие умники... Озабоченные.

– Каша... Обижает. Нехорошо. Ты меня слышишь?

– Нет, Хмырь, не слышу. Я сплю. И ты мне снишься... Красивый, молодой, на берегу моря... Рядом с тобой девушка необыкновенной красоты... Она улыбается, гладит рукой по щеке, целует и прижимается к тебе... На ней голубой купальник и... И больше ничего на ней нет...

– Каша... Я тебя убью, – произнес Хмырь глухим голосом и замолк до утра.

А утром, как это всегда и бывает, начались неувязки. Вертолет, который должен был прилететь сразу после завтрака, почему-то задерживался. Суковатому сказали, что у него что-то сломалось, потом выяснилось, что его перебросили на другой объект и тем самым нанесли Суковатому несильную, но болезненную обиду, дескать, есть в мире кое-что поважнее твоей вышки. Суковатый обиду проглотил и остался в своем кабинете, стоя у окна, раскачиваясь из стороны в сторону и глядя в пустынное небо...

Уже после полудня как-то неожиданно над тюремным двором возник вертолет. Он зашел со стороны, приблизился, и тогда все сразу дружно ахнули – батюшки, вертолет!

И обрадовались.

Не потому обрадовались, что была надежда на что-то там особенное, а просто от неожиданности – незнакомый, непривычный предмет висит в воздухе, гудит мотором, машет крыльями и опускается сверху вниз.

Сбежал по лестнице Суковатый, заметался по двору Пыёлдин, зашевелились зэки вокруг мачты, прикрепляя к ней петли из толстой проволоки. Тюремный двор был довольно большой, и вертолет без труда приземлился в самом его центре, подняв пыль и разметав обрывки бумажных мешков из-под цемента. Хотя Суковатый и велел с утра подмести двор и полить его водой, но за день двор снова просох и снова был раскален под солнцем.

Лопастки еще повернулись некоторое время, потом обвисли под собственной тяжестью и остановились. Столпившиеся вокруг машины зэки наблюдали, что будет дальше. Открылась железная дверца, и на землю один за другим прыгнули два парня в зеленоватой пропотевшей форме.

– Привет, зэки! – воскликнул один из них, приветственно подняв руку.

Зэки угрюмо молчали.

Положение спас Суковатый – растолкав заключенных, он протиснулся к вертолету, пожал парням руки, поулыбался и поволок их показывать мачту. Вертолетчики тоже улыбались, что-то отвечали Суковатому, смотрели вверх, на угол тюремного здания, где, как чудища на соборе Парижской Богоматери, сидели несколько зэков на корточках и, подперев щеки кулаками, смотрели вниз.

– Ну что? – донесся до зэков вопрос Суковатого к вертолетчикам.

– А что... Будем думать.

– Думай не думай, а делать надо. – Суковатый посмотрел на часы, давая понять, что времени до вечера осталось не так уж много, неплохо бы и поторопиться.

– Успеем, – протянул один из вертолетчиков, щурясь на солнце.

Как и у всех шабашников страны, в их движениях, словах, походке ощущались ленца и сознание собственной значительности – от них в конце концов зависело, получится у заказчика что-нибудь или ничего не получится.

Спасаясь от жары, зэки расположились в тени здания и беседу Суковатого с вертолетчиками наблюдали со стороны. Пыёлдин сел рядом с вертолетчиком Витей, который смотрел на зеленую машину с бесконечной скорбью, немало, видимо, у него было связано воспоминаний с такими вот вертолетами. Пыёлдин положил ему руку на плечо и уже одним этим создал некую приятельскую задушевность.

– Знакомая машина? – спросил он, кивнув на вертолет.

– Моя машина, – негромко ответил Витя. – Семь лет я на такой отлетал, семь лет.

– Хорошие были времена?

– Знаешь, Каша, все, что было раньше... всегда кажется хорошим. Я даже так скажу... Состаримся – эту тюрьму будем вспоминать со слезами на глазах... И сейчас вот... Верни мне все, что было... И большего счастья нет на земле. А ведь тогда-то мы материли жизнь... И денег мало, и одежда не та... И женщина, которая убивается по мне, тоже не больно красива, где-то есть краше...

– А еще полетать хочешь? – спросил Пыёлдин безжалостно, прерывая причитания вертолетчика.

– Чего об этом трепаться... А мне сидеть еще четыре года, как в песне поется... Душа болит, так хочется домой...

– А мы и не трепемся, – тихо проговорил Пыёлдин, глядя в слепящее небо. – Мы готовимся.

– К чему? – побледнел Витя.

– К отлету, – ответил Пыёлдин и продолжал шуриться в небо и улыбаться, как улыбаются собаки в жару – легко, беззлобно, просто потому, что так сложились складки на морде. Потом Пыёлдин опустил голову и так же, ослабившись, продолжал смотреть в пространство двора, на начальство, на конвоиров, которые тоже, изнуренные зноем, жались в тень и маялись от безделья, не зная, куда пристроить свои обшарпанные автоматы.

– Не понял! – отрывисто сказал Витя и резко повернулся к Пыёлдину.

– Ты вот что, Витя... Не дергайся, понял? Веди себя как я, например... Лениво, бестолково, глуповато... Открываю тайну... Хочешь?

– Хочу.

– Так вот. Всю эту стройку я затеял только ради тебя... Чтобы ты получил наконец в свое распоряжение настоящий, хороший вертолет. Вот он перед тобой. Бери его. Он твой.

– А на фига он мне?

– Чтобы здесь больше не сидеть. Улетишь отсюда примерно через полчаса... И мы улетим вместе с тобой.

– Куда? – спросил Витя, ошалело вращая глазами.

– На волю.

– Зачем?

– Чтобы не быть в тюрьме. Мне здесь не нравится. Здесь плохо. А там, – Пыёлдин показал рукой в ясное небо, – там хорошо. И мне туда хочется. И тебе хочется. Ты сам говорил. И всем экам, которые вон в тенечке расселись... Тоже хочется.

– Чего им хочется?

– К морю. В лес. На речку. К бабе. К детям. К маме. К папе. Ты хочешь к папе?

– Хочу.

– Летим?

– Не знаю...

– Помнишь, мы с тобой в камере трепались... Ты говорил, что летал и еще хочешь летать... Я запомнил. Вот она, твоя игрушка. Сверкает на солнце, пахнет бензином, в рабочем состоянии...

– И это... Это все ты?!

– Пришлось поработать, – скромно потупился Пыёлдин. – Пришлось мозгами пошевелить... Признаюсь – было трудно. Теперь все зависит от тебя, Витя. Не оплошай.

– Думаешь, смогу? – Витя недоверчиво посмотрел на свои ладони.

– Уверен. На сто процентов. Слушай меня... Значит, так... Суковатый, как мне кажется, сейчас слиняет...

– А если не слиняет?

– Слиняет. Оставит зама. Вдруг у нас что-то не получится? Вдруг мачта оборвется и раздавит всех эков? Вдруг стена здания не выдержит и тюрьма рухнет... Мало ли чего может случиться... А так... Он уходит, оставляет зама... Ему и отвечать. В случае успеха – Суковатый на коне, в случае неудачи – заму по задку. Готовься, Витя. Другой возможности не будет. Взлетаем в ближайшие полчаса... Если сложится – через пятнадцать минут. Объявляю пятнадцатиминутную готовность.

– Ребята знают?

– Нет. Знаем только мы с тобой. Им скажу в последний момент. В самый последний. Дескать, прошу на посадку.

– Не дрогнут?

– Пусть остаются двор подметать.

– А если кто наступит?

– Не успеет. Я же сказал – приглашу только на посадку. Все остальное сделаю сам. Кроме вертолета. Машина на тебе. Сможешь? Взлетишь?

– Постараюсь.

– Забудь, понял?! Забудь!

– Что забыть? – Витя растерянно посмотрел на Пыёлдина.

– Забудь это слово – постараюсь. Стараться не надо. Нигде. Никогда. Ни с кем. Надо просто делать. Завести мотор и взлететь! В небо! Понял?

– Мотор должен прогреться...

– Он еще не остыл. И не остынет на такой жаре.

– Вообще-то да... Конечно... Смотри, Суковатый и в самом деле уходить собрался.

– Вот видишь... И это я предусмотрел. Да и неважно, уйдет он или не уйдет... Это его личное дело. Пусть сам решает, сам думает. Главное сейчас – ты, Витя. В кабине какие-то ключи должны быть? О ключах мне нужно подумать?

– Если предполагается скорый взлет, то ключи обычно оставляют в замке зажигания.

– Если так... Мы займемся мачтой, крючьями и прочей ерундой, а ты должен заглянуть в кабину. Если ключи на месте, дашь мне знать. Если ключей нет – тоже сообщишь. Вопросы есть? Вопросов нет. Вперед без страха и сомнений.

Пыёлдин медленно, лениво поднялся, отряхнул зад от пыли, потоптался на месте, чтобы все видели, какой он сонный, ленивый, бестолковый, и побрел к вертолету. Подошел, похлопал ладонью по пыльным горячим бокам, оглянулся на приближающихся вертолетчиков, улыбнулся.

– Сил-то у машины хватит эту дуру поднять? – Он кивнул в сторону мачты, лежавшей на боку.

– Не о том спрашиваешь, мужик, – один из вертолетчиков отодвинул Пыёлдина от дверцы.

– А о чем можно спросить?

– За что цеплять? Крючья какие-то есть тут у вас? Цепи, проволока?

– Зацепим... Приготовили кое-что... А это... – Пыёлдин помялся. – Надо бы совместить наши петли с вашими... За что цеплять-то будем? – Пыёлдин снова подошел к вертолету и заглянул в распахнутую дверцу. – Залезу, посмотрю? – Он обернулся к вертолетчикам.

– Посмотри, мужик, полюбопытствуй. – Парень в военной форме снисходительно окинул взглядом Пыёлдина. А как на него смотреть, на него иначе и невозможно было смотреть – замызганный, кое-как выстриженный, сутулый, с тощей шеей, заискивающим взглядом, суетливыми движениями. Да и походка у него была какая-то дурацкая – он ходил, заворачивая носки внутрь, а на босых ногах болтались ботинки без шнурков, явно на два-три размера больше, чем требовалось...

– Витя! – позвал Пыёлдин. – Давай прикинем, что тут у них. – Он чуть ли не силой затолкал Витю в вертолет, наклонился, вроде бы рассматривая что-то на полу, и задом, тощим своим подрагивающим задом многолетнего зэка умудрился, перекрыв поле зрения у вертолетчиков, подтолкнуть все еще робеющего Витю к кабине – смотри, дескать, изучай обстановку, готовься, мать твою за ногу! – Нормально, – сказал Пыёлдин, спрыгивая на горячую пыль двора. – Зацепится. Кто вести будет?

– Ну я, – ослабилась один из вертолетчиков. – А что?

И Пыёлдин начал долго и бестолково объяснять, как нужно подняться, куда завести крюк, за что его зацепить, как зависнуть над крышей, чтобы мачта села как раз на те болты, которые они бетонировали...

– Ладно, батя, разберемся, – потерял летчик терпение. – Посторонись-ка!

А Пыёлдин обиделся.

И ужаснулся.

Не на летчика обиделся, жизни своей ужаснулся. Уж если ровесник называет его батей, причем спокойно, не желая оскорбить, а даже с некоторым уважением к возрасту.

Нет, сливай воду, ребята, сливай воду.

Никогда, Каша, ты не будешь моложе и красивее. Ты сможешь только отмыться, отплеваться, отгавкаться, но не более того. Назад пути нету, Каша. Или сейчас, или никогда. Через десять лет ты выйдешь отсюда уже не батей, ты выйдешь сраным стариком. Только так тебя будут называть, только так...

От печальных мыслей его отвлек Витя. Он неслышно подошел сзади, тронул Пыёлдина за локоть.

– Ну? – резко обернулся тот.

– Ключей нет. Каша... Нет ключей.

– Будут, – заверил Пыёлдин, ощутив вдруг необыкновенный подъем, ощутив, как наполняет все его существо отчаянное безрассудство, когда немеют губы, а в груди холод и сквозняк. А это, он уже знал по своему опыту, означает успех, победу и торжество. Давай, Аркаша! Помогай тебе бог! Давай, миленький, давай, хорошенький... Не вечно же тебе гнить в этих стенах, на этих нарах... А если наделаешь в штаны – догнивай здесь, сучий ты потрох!

Он твердил и твердил эти слова, пытаясь взбодрить себя и вытеснить, выдавить из души остатки осторожности и опасливости.

– Что будем делать? – спросил Витя.

– Ключи вон у того, тощего, – сказал Пыёлдин. – Он будет вести машину, значит, и ключи у него. В курточке карманов нет. Значит, они у него в штанах. Все самое ценное настоящие мужчины носят в штанах! – хохотнул Пыёлдин неожиданно подвернувшейся шутке. Но Витя даже не улыбнулся, он просто не услышал ничего, кроме самого важного – ключи в кармане штанов у тощего вертолетчика.

А Пыёлдин, с собачьей улыбкой глядя в небо, на вертолет, на дурацкую мачту, которую приволок Суковатый в надежде на повышение (интересно, а какое повышение может быть у начальника тюрьмы?), загребая ногами пыль тюремного двора, подошел к расположившимся в тени экам, постоял, глядя в землю...

– Что скажешь, Каша? – рассмеялись они дружно, в каком-то своем согласии. – Устал маленько? Притомился, бегаючи за начальством по пятам? Присядь, отдохни малость!

И опять расхохотались, беззлобно, а потому особенно обидно.

– Значит, так, – произнес Пыёлдин негромко. – Значит, так... Только тихо... Поняли? – прошипел он зло, совсем не тем тоном, дурашливым и угодливым, к которому все уже привыкли. – Не надо слов, движений, суеты... Лежите, как лежали... Сейчас отлетаем. Повторяю для идиотов – сейчас отлетаем. Спокойно, без дури. – Пыёлдин, сощурившись, посмотрел в синеву неба, чтобы конвоиры видели – эки глупы, ленивы, расслаблены. – Готовьтесь, ждите моей команды. Всем оставаться на местах. Следите за стукачами – ни один из вас не должен отлучиться. Кто на волю не желает – дотаивайте здесь. *Вольному – воля*. Вопросы есть? Вопросов нет. Ждите команды на посадку.

И Пыёлдин, не торопясь, шлепая безразмерными своими ботинками по тюремной пыли, направился к железной бытовке, в которой вчера Хмырь и Козел наводили порядок, проклиная его на чем свет стоит. Утром Пыёлдин уже побывал здесь, расставил на столе пустые банки из-под краски, пыльные бутылки, кисти в окаменевшей краске. Все это он накрыл прихваченной с нар простыней, не очень, правда, чистой, но что делать, другой у него не было. Да и в полумраке бытовки вряд ли кто заметит, что простыня недостаточно свежа, к тому же времени на ее разглядывание ни у кого не должно оставаться, это уж его, пыёлдинская, забота.

– Готовься, – негромко сказал он Вите, проходя мимо него и направляясь к вертолетчикам. – Ребята! – окликнул он их. – Идите сюда! – Пыёлдин приглашающе махнул рукой. – Важное дело... Не пожалеете, – и он улыбнулся посережними от волнения губами.

Вертолетчики неохотно покинули тень возле здания и, недоумевая, направились к Пыёлдину.

– И вы подходите, – крикнул он двум скучающим конвоирам. – Это и вас касается... Не пожалеете, – добавил он привычные свои слова.

Ничего не понимая, конвоиры тоже приблизились к бытовке. Вокруг было спокойно, ничто не вызывало беспокойства, и они простодушно решили, что с ними хотят о чем-то посоветоваться – когда что-то строят или ломают, каждый считает себя опытным и знающим. Тем более что потрепанная физиономия Пыёлдина не выражала ничего, кроме заискивающего благодушия.

– Начальник просил передать... Тут небольшое застолье приготовлено... Праздничный, можно сказать, обед... Отведайте, а там уж и за работу... Чем богаты, тем и рады. – Пыёлдин широко распахнул скрежещущую дверь бытовки и первым шагнул внутрь, увлекая за собой остальных. Смелее других оказался один из вертолетчиков – он заглянул внутрь, увидел стол, накрытый белой скатертью, из-под которой торчали, по всей видимости, чрезвычайно привлекательные яства, и невольно воскликнул: «О!»

И этот его невинный возглас решил успех дела. За ним тут же проскользнули конвоиры, опасаясь, что без них все будет расхвачано, выпито и съедено. Едва они оказались внутри, как Пыёлдин с необычайной ловкостью выскользнул из будки, с грохотом задвинул за ними дверь и тут же, не медля ни секунды, просунул заранее приготовленную скобу в приваренные петли. Скоба была кривая, сделанная из ребристой арматурной проволоки, ее концы свесились вниз, и открыть дверь изнутри было уже совершенно невозможно.

– Ни фиги не понимаю! – удивился оставшийся вертолетчик, которого Пыёлдин в последний момент оттеснил в сторону, помня о том, что именно у него в штанах ключи от вертолета.

– Ключи! – заорал Пыёлдин незнакомым голосом, яростным и нетерпеливым. – Ключи! – заорал он еще страшнее.

– Ты хочешь сказать, – начал было тот, но Пыёлдин сам сунул немывтую свою руку в карман вертолетчика и, вырвав оттуда ключи, бросил их стоявшему рядом Вите.

– Порядок?

– Полный! – глаза Вити сверкнули жизнью.

– Тогда вперед! Отвали! – заорал Пыёлдин на бледного вертолетчика. – Отвали, пока цел! – Тот не заставил повторять приказ дважды и тут же исчез, растворился. – Прошу на посадку! – крикнул Пыёлдин все еще сидевшим в тени экам – выполняя его указание, они оставались на месте, не решаясь вмешаться в события. – Раздайся море, говно плывет! – восторженно заорал Пыёлдин, видя, как бросились к вертолету эки, которые так долго преследовали его насмешками. – Козел! – заорал Пыёлдин, выталкивая из вертолета недавнего своего помощника. – Хмырь! Мешки с цементом!

– Что мешки с цементом?! – в истерике взвизгнули оба, боясь, что их оставят догнывать в тюрьме.

– Рассыпай вокруг вертолета! – Пыёлдин сделал круг рукой.

– Зачем?!

– Делай! – Еще на несколько слов, которые ему так хотелось выкрикнуть, у Пыёлдина не хватило сил, он закашлялся, изогнулся пополам, но не спускал глаз с Хмыря и Козла. Схватив тяжеленные мешки, они щедро посыпали тюремную пыль сухим, мельчайшим цементом. Когда оба вскарабкались в кабину, лопасти уже вращались, набирая обороты. Их грохот смешался с грохотом, который раздавался из железной будки, где металась в полной темноте вертолетчик и два конвоира. Они колотили в стены, в двери пустыми железными банками, палили из автоматов в потолок, но это был просто шум, и не более того.

– Все, ребята, все! – вскричал Пыёлдин, сверкая очами. – С горячим бандитским приветом!

А лопасти вращались все быстрее, рождая ветер на тюремном дворе, поднимая в воздух тучи цементной пыли, в которой скрылась и будка с запертыми простакнами, и двор, и мачта для высоковольтных передач. Да и сама трехэтажная тюрьма потонула в серой цементной пыли и как бы перестала существовать. Поэтому, когда пыль осела, когда пленники выбрались из раскаленной на солнце будки, никто не мог даже предположить, в какую сторону улетел похищенный вертолет, где ждать его появления, куда направить поиски. Безбрежное синее небо простиралось над стенами тюрьмы, а воздух свободы все еще, казалось, гулял сквозняками по ее обесчещенным коридорам и камерам.

Беглецы исчезли, будто растворились в синеве неба.

\* \* \*

Дом напоминал шампур, на который был нанизан весь остальной город с кварталами, скверами, свалками и пустырями. Холодным сверкающим кристаллом уходил он в небо и заканчивался где-то там, в немыслимой высоте, в разряженной темно-фиолетовой атмосфере среди звезд и планет. Белые тарелки антенн, установленные на крыше этого фантастического сооружения, позволяли его обитателям видеть все телевизионные программы мира, знать все новости и откликаться на них своевременно, безошибочно и жестко.

Когда весь город уже был погружен в вечерние сумерки и на его темных улицах вспыхивали желтоватые фонари, верхние этажи Дома полыхали закатными отблесками, светясь торжественно и победно. И ранним утром, когда город еще спал, погруженный в кромешную мглу, верхние этажи Дома уже сверкали в лучах восходящего солнца. Да, Дом позже всех засыпал и раньше всех просыпался, словно зовя горожан к неведомой, прекрасной жизни, которая обязательно наступит, но не очень скоро. Однако стремиться к ней необходимо, поскольку в этом и состоит смысл земного существования.

Это было потрясающее зрелище, запечатленное в тысячах плакатов, открыток, календарей, в миллионах сувениров и памятных знаков: громадные стекла верхних этажей Дома, отражающие солнце и соперничающие с ним, а глубоко внизу – темный город с редкими светящимися окнами, тусклыми уличными фонарями, кое-где мерцающими витринами.

Вспыхивающий в ночном небе, среди звезд, рядом с луной, верхний этаж Дома, отражающий далекое еще солнце, для многих в городе служил своеобразным будильником. И люди послушно вскакивали, бросались бриться, гладить рубашки и штаны, начинали просмаркиваться, наводить румяна, подрезать ногти, потому что Дом призывал быть нарядным, ухоженным, в той крайней степени готовности, на достижение которой надо потратить не менее часа, а то и двух. К чему бы эта готовность ни требовалась – к работе, к любви, к...

А к чему еще можно быть готовым? Чем еще занимается человечество?

Больше ничем.

Работа и любовь.

Причем для одних любовь – работа, для других работа является высшим проявлением любви, а для большинства эти понятия настолько перемешаны, что их и различить невозможно – и работают без любви, и любят по обязанности, и вообще вытворяют с собой черт знает что!

Многие жители города служили в Доме, Дом отсасывал и вбирал в себя лучших специалистов, крутых охранников, красивых женщин. И все они бывали счастливы, попав в Дом, в это скопище банков, контор, обществ, концернов, трестов. Служащих Дома можно было узнать сразу – они предпочитали плоские чемоданчики независимо от того, что туда приходилось помещать – банный веник, автомат «узи» или протокол о намерениях. В холодное время года служащие надевали черные пальто, избегая при этом головных уборов, у всех на ногах красовались остроносые туфельки на тонких подошвах. Такие туфельки позволяли легко и без усталости передвигаться по бесконечным коридорам, этажам, кабинетам, увлеченно, даже с некоторым

канцелярским азартом носиться в лифтовых кабинах, изысканно приближаться к начальственным столам, отдаляться от них, изысканно держа под мышкой изысканные кожаные папки.

В то же время надо сказать, что эти вот самые туфельки на тонких подошвах были совершенно непригодны для передвижения по городу, не очень чистому и ухоженному. Поэтому владельцам туфелек требовались машины, опять же достаточно изысканные, которые приближались бы к Дому с легким шелестом, напоминающим шелест листвы или шум морских волн. Подъехать к Дому на каком-нибудь «Запорожце» или «Москвиче» было не просто неприлично, а даже невозможно, потому что гаишники решительно останавливали эти позорные средства передвижения за три квартала и бестрепетно разворачивали их в обратную сторону, не объясняя причин.

Остальные жители города резко отличались от обитателей Дома, выглядели какими-то мешковатыми, слегка оголодавшими, часто поддавшими и, самое главное, озабоченными. Да, они были бесконечно озабочены неразрешимыми делами, которые вынуждали их ходить от магазина к магазину с сумками и тележками, на себя надевали немаркое, чинили старую обувь, питались вчерашним, что не портится и через сутки, и через трое.

Дом был построен совсем недавно и по замыслу создателя должен был убедительно доказывать могущество и неограниченные возможности новых властей, новых людей, новых порядков. Что бы ни происходило в городе, в мире, во вселенной, Дом сверкал синими отблесками неба, возвышался недоступно и прекрасно, как диковинный цветок, выросший на почве топкой и зловонной. Где-то далеко внизу ютились в старых, приземистых халупах с маленькими окнами и скрипучими полами, с просевшими дверями и протекающими крышами все эти главы администраций, судьи, прокуроры, милицейские начальники и прочая шелупонь, которая до сих пор тешилась какими-то полузабытыми воспоминаниями о своем былом могуществе.

Настоящим могуществом обладали обитатели верхних этажей Дома. Люди это прекрасно понимали, и некоторым из них время от времени удавалось неведомыми путями просочиться на третий-пятый этаж Дома, не выше, и попытаться выпросить денег на оконные стекла в школу, на шифер для больницы, на мешок макарон для местной тюрьмы, где заключенные дичали от голода и неухоженности. По слухам, какого-то новенького, румяного да гонористого, они попросту съели за ночь, оставив к утру горку требухи и несколько розовых костей. Кем был этот румяный, как туда попал и за что – даже выяснять не стали. Съели и съели. Кричал, говорят, сильно, но недолго. Сунули его головой в мешок с мукой – как вдохнул, так и замолчал, забило мукой голосовые его отверстия, с помощью которых он пытался воззвать к жалости и состраданию злобных от недоедания ээков.

Дом был сооружен так продуманно и дальновидно, что в нем можно было жить, не выходя в город, издерганный очередями, ценами, пенсиями, демонстрациями и голодовками. Первый этаж занимала охрана, набранная из людей странной такой породы, которой в прежние годы и не было на земле.

И вдруг возникла.

Мутанты не мутанты, но какое-то настораживающее и даже пугающее племя. В большинстве своем это были молодые особи, что говорило об их недавнем появлении на Земле, по половой принадлежности скорее всего мужчины, хотя утверждать это вряд ли бы кто решился. Упитанность у них была выше средней, из тела выпирал плотный живот, причем тоже особенный – не безвольный какой-то, не провисший, нет, он больше напоминал разросшийся мускул, этакую мышцу, непонятно для чего предназначенную. И шея у существ была необычной, слегка озадачивающей, особенно если смотреть сзади – она как-то незаметно от лопаток переходила к затылку. Голова от этого делалась неподвижной, и, чтобы посмотреть в сторону, существо вынуждено было поворачиваться всем корпусом. В этом было и преимущество, потому что, повернувшись, существо готово было тут же броситься и устранить опасность. Существа обла-

дали мясистыми щеками, глаза предпочитали небольшие, сведенные к переносице. Брови у них почти отсутствовали, и в этом тоже чувствовалось преимущество – глаза беспрепятственно и непрерывно озирали окрестности, отчего боевые качества существ резко возрастали.

Одевались существа добротной, дорого одевались, уже одним этим как бы приобщаясь к высшим сферам. Предпочитали свободные пиджаки самых разных расцветок – красных, зеленых, желтых, малиновых, причем из тонкого, струящегося материала. Просторная одежда позволяла им прятать под мышкой если и не гранатомет, то уж автомат любой модели наверняка.

Передвигались существа с легкой такой, почти незаметной лентой, и переговаривались они и даже просто стояли, вроде делая одолжение, за которое вам предстояло с ними расплачиваться.

Да, и жвачка, они постоянно жевали какие-то специально заказанные для них зарубежные жвачки, отчего зубы выростали необыкновенно больших размеров, особенно клыки. Челюсти тоже выпирали вперед гораздо больше, чем у людей, и уже по этому признаку существо можно было легко опознать, если оно оказывалось в городе. Жевали охранники непрерывно – во время разговора, при ходьбе, в задумчивости, а они часто впадали в состояние, которое простодушный человек готов был принять за задумчивость, хотя точнее было бы назвать его оцепенением. Жевание жвачки не прекращалось никогда, оно продолжалось и во сне, и в туалете, они жевали, даже когда просто жевали. К примеру, одной стороной зубов жуют бифштекс, а другой стороной – жвачку. И, таким образом, им удавалось процесс отращивания зубов не прекращать даже во время приема пищи, а пищу они принимали часто, помногу, отчего и приобретали черты, описанные выше.

Под этим бесконечным жеванием была еще и некая международная подоплека – из-за океана, где правил зубастый Билл-Шмил, им от его имени постоянно напоминали по телевидению о том, что жевать не просто модно или красиво, а очень даже полезно для их организмов.

Они поверили и начали жевать.

И жуют.

До сих пор.

Потому что когда начнешь что-либо делать с увлечением и душевной привязанностью, то остановиться бывает чрезвычайно трудно.

Существ этих с каждым днем и в городе, и в стране становилось все больше, казалось, их выращивают в каких-то питомниках, вдали от людских глаз, а по достижении определенного возраста выпускают, чтобы существа приживались и выдавали бы себя за своих, то есть за людей. Только глупостью и наивностью настоящих людей можно объяснить то, что существам это чаще всего удавалось. Некоторые даже проникали на высокие государственные посты, становились управляющими банков, членами парламента, министрами и постепенно прибирали к рукам страну.

В городе они появились как-то неожиданно и сразу в большом количестве, как, бывает, появляются цветы в полях, по опушкам. В зависимости от погоды, от того, как складывается весна – затяжная она, бурная или дождливая, поле вдруг покрывается ромашками, или все пространство между железной дорогой и лесом, между полем и берегом реки оказывается заросшим нежными незабудками, а то вообще начинают бурно вылезать из земли невиданные растения с тем, чтобы к осени исчезнуть и появиться уже при жизни следующих поколений.

Значит, так нужно, значит, так задумано природой.

В человеческом обществе, между прочим, происходит то же самое – перед войной рождаются в большинстве мальчики, перед долгим миром – девочки. И уж если природа неожиданно выбросила в свет такое количество подобных существ, следовательно, в них появилась острая потребность – в связи с политическими переменами, нравственными потрясениями, слабостями и достоинствами правящего президента.

И так может быть.

Казалось бы, ничто не предвещало краха великой державы, еще гремели победные марши, уходили в космос корабли, мощные авианосцы бороздили моря всей планеты, и над ними развевались гордые знамена, на главной площади шли величественные парады, от одного вида которых замирали в трепете народы и государства. Но уже пошли, пошли рождаться и с необыкновенной, пугающей скоростью произрастать странные существа с мощными загривками и глазками, сведенными к переносице. Значит, природе уже было известно о скором приходе некоего пустобреха, который эту великую державу разрушит...

Вообще-то проницательный человек мог бы заранее предсказывать общественные и политические потрясения в зависимости от того, какая публика появляется на улицах, во что одета, чем питается и от чего морду воротит...

Ладно, возвращаемся в Дом.

Каждого нового человека в вестибюле, отделанном красноватым гранитом, охранники осматривали с ленивой настороженностью: стоит ли ради этого типа подниматься из кресла? И чаще всего не поднимались, потому что тип, почувствовав на себе их тяжелые взгляды, сам торопился подбежать и вынуть все документы, которые при нем оказывались.

И было этих охранников чрезвычайно много, что даже обескураживало нового человека, он невольно проникался робостью, ему казалось, что он попал в место, в котором подвергается постоянной смертельной опасности. Охранники встречали гостя у стеклянного входа, сидели в креслах, разбросанных по всему вестибюлю, торчали за стойками баров, прохаживались у лифтов. Их узко поставленные глаза можно было бы заметить даже в вентиляционной решетке, в узком просвете приоткрытой двери. Тот же бармен за стойкой не столько смотрел на свою мензурку, сколько ошупывал взглядом появившегося в дверях человека. И официант в ресторане смахивал крошки со стола как-то механически, взгляд его был устремлен на входную дверь, за матовым стеклом которой мелькнула тень появившегося гостя.

Руководил существами некий Стыць, ничем от прочих охранников не отличающийся, разве что был он несколько крупнее, челюсть у него выступала вперед выразительнее, ну и глаза... Да, глаза у него сходились к переносице гораздо сильнее, они располагались совсем рядом – при моргании ресницы одного глаза цеплялись за ресницы другого. Собственно, здесь сработал закон обезьяньей стаи – самая крупная, сильная и нахальная обязательно становится вожаком.

По количеству охраны легко можно было судить и о самом Доме, и о его обитателях. Уж если такие деньги тратились на безопасность, то, значит, такие деньги имелись. Да, охрана была вооружена самыми современными средствами обороны и нападения, самыми ядовитыми газовыми пистолетами, самыми сильными электрошоковыми дубинками, от одного прикосновения которой человек впадал в такое глубокое забытие, что потом медики месяцами не могли выпытать у несчастного его же собственное имя. Вооружение охраны вовсе не сводилось к одним только пистолетам и дубинкам, нет. Она спокойно могла отбить и ракетное нападение с воздуха, и танковую атаку, и даже если бы нежеланные гости вознамерились проникнуть в Дом по канализационным трубам... Короче, и это было предусмотрено.

Но в то же время надо заметить, что охрана Дома еще ни разу не показала себя в деле, не было у нее такой возможности. Может, это и к лучшему, может, сам вид охраны, достаточно свирепый, отпугивал возможных нарушителей спокойствия, а охранников убеждал в том, что они и в самом деле надежны.

Однако дальнейшие, совсем уже скорые события показали, что даже самой сильной охране требуются время от времени встряски, должен, должен пробежать холодок опасности, который бы постоянно оведал эти помещения. Что делать, даже самым современным армиям мира требуется встряска, и они это прекрасно знают, более того, не упускают возможности убедиться в собственной боеготовности. И проверяют, и убеждаются. Англичане, к примеру, через весь земной шар отправили армаду, чтобы отвоевать у простодушных аргентинцев две

скалы. И отвоевали, а аргентинцев уничтожили и свой победный флаг на скалах водрузили. Французы за три океана отправились в Новую Каледонию и там свой флаг водрузили, повергнув в бегство оставшихся живыми трех аборигенов вместе с их беременными бабами и детишками. Заокеанцы тоже за тридевять земель в тридешатое вьетнамство отправились и там десять лет пытались свой флаг водрузить, а когда не получилось, водрузили его в Панаме, на Гаити и в сербской деревушке на окраине Европы, причем в одном месте захватили главу государства и посадили его в тюрьму, во втором назначили своего главу, а в третьем, поскольку не получилось ни первое, ни второе, разбомбили все, что можно было разбомбить. И долго наивно моргали глазками, дескать, хотели как лучше, а получилось как всегда. Но тем не менее боеспособность своей армии проверили.

И, похоже, остались довольны.

Хотя...

Сомнительны их выводы, очень сомнительны. Ведь эти могучие армии, оплоты великих демократий, выбирают себе противников, победа над которыми не вызывает ни у кого сомнений, а вопрос стоит только один – будет она одержана через двадцать четыре часа или через сорок восемь. И то ошибаются, и то просчитываются, в дураках время от времени оказываются. Что делать, законы мироздания едины – когда дело доходит до денежных убытков, эти оплоты демократии ведут себя точь-в-точь как кухарки в коммуналке: у кого в руках половник, тот и прав.

Так вот, если предположить, что сейчас, в эту секунду, совершенно неожиданно в стеклянные двери ворвется сотня вооруженных до зубов террористов, охрана наверняка даст достойный отпор и посрамит налетчиков. Но ведь грамотные налетчики и не ломятся в открытые двери, свои преступные замыслы они осуществляют неожиданно, непредсказуемо, а то и вообще на грани невозможного.

Что и произошло, что и произошло...

На втором этаже Дома располагался роскошный и невероятно дорогой ресторан, в котором проводились всевозможные празднества, отмечались крупные сделки, чествовались почетные гости. Попасты в ресторан простым гражданам было совершенно невозможно, да они туда и не стремились, поскольку за обычный ужин с приятелем или с приятельницей пришлось бы отдать никак не меньше годовой зарплаты.

Каждый месяц в ресторане проводились конкурсы местных красавиц, и самые очаровательные девушки города стремились во что бы то ни стало попасть на конкурс, зная, что важна не только победа, но и само участие. В участии никому не отказывали, поэтому конкурсы получались чрезвычайно многолюдными. Три финалистки получали двухнедельные путевки на остров Кипр, где они должны были отдохнуть, загореть и еще больше похорошеть, прежде чем стать постоянными посетительницами Дома. Остальные участницы получали пропуск в лучшие залы ресторана в любое удобное для них время. Пропуск давал право на бесплатную чашку кофе, закуску и стопку коньяка. Каждое такое угощение отмечалось в пропуске, чтобы красавица не вздумала повторить – легкая выпивка подчеркивает ее привлекательность, румянит щеки и придает волнующий блеск глазам, а выпивка обильная эти самые глаза гасит, убирает со щек румянец, опять же телодвижения красавиц делаются неуверенными, вялыми и не вызывают никакого желания обладать ими, красавицами.

До десятого этажа Дома шли всевозможные мелкие службы, финансовые отделы, кредитные управления, контрольные органы, общественные фонды и прочая дребедень. А выше, до семьдесят какого-то этажа, располагались учреждения более серьезные, и только на самом верху находились дирекции банков. Никто не знал точно, сколько в Доме этажей – уже после завершения строительства некоторые этажи убрали, из некоторых делали два, а то и три, неоправданно низкие, вспомогательные этажи объединяли в один.

Создавалось впечатление, что эти многочисленные переделки были заранее предусмотрены и даже более того, они входили в первоначальный проект всего сооружения с тем, чтобы сбить с толку возможных недоброжелателей.

Наверняка было известно только одно – самый верхний этаж занимал банк Ивана Ивановича Цернница. Да, так его и звали – Иван Иванович Цернниц. Этот могущественный магнат протянул щупальца по всему земному шару, и они, щупальца, с каждым днем набирали силу, наливались кровью, обрастая филиалами-присосками, трестами и концернами.

На всех этажах Дома были буфеты, холлы с телевизорами, комнаты отдыха с девушками, одержавшими победы на конкурсах красоты, сауны, просмотровые залы, кабинеты для совещаний и переговоров. Описывать Дом более подробно нет никакой надобности, человек, хоть немного знакомый с банковской системой, и сам все это прекрасно знает. Поговаривали, что в момент предельного наполнения, в разгар рабочего дня, в Доме трудились около пятидесяти тысяч человек – как на большом машиностроительном заводе.

Таков был Дом.

И принадлежал он Ивану Ивановичу Цернницу, который его запланировал и построил.

На свои деньги.

Во всяком случае, на деньги, которые считал своими.

В конце концов, это неважно, потому что настали времена, когда каждый может владеть теми деньгами, которые считает своими. А своими он считает те деньги, которые ему нужны. В чем бы кармане они ни находились.

Уж поскольку упомянуто имя Ивана Ивановича Цернница, то нельзя не упомянуть о слухах, которые ходили об этом банкире, хозяине семьдесят какого-то, самого верхнего, самого недоступного этажа.

Так вот, каждое утро Цернниц в собственном кабинете проводил совещания высших своих сотрудников. Его письменный стол находился как бы на сцене, которая возвышалась над всем остальным кабинетом. Сделан он был из полированного дуба полукруглой формы. За этим столом Цернниц находился в одиночестве, а все приглашенные на утреннюю разборку рассаживались в креслах внизу, у подножия председательского стола.

Поговаривали, что перед заседанием в стол помещалась одна из победительниц конкурса красоты, и в то время, как Цернниц распекал нерадивых сотрудников и давал указания, как жить дальше, невидимая, но всеми явственно ощущаемая красавица совершала над Цернницем непристойные деяния, подвергая его неопишваемым наслаждениям, от которых у Цернница глаза сходились к переносице, а сам он впадал в оцепенение, которое, впрочем, продолжалось не слишком долго. Вскоре он вновь обретал способность двигаться, глаза возвращались на предназначенное им природой место, но еще некоторое время оставались затуманенными. Белоснежным платком Цернниц снимал со лба сладостную испарину. В кабинете воцарялась сочувственная тишина – Цернницу давали возможность прийти в себя.

Но если заседание затягивалось, через часок-другой все вдруг замечали, что глаза Цернница опять пошли к переносице, опять его желваки, вздрогнув в еле сдерживаемом стане, медленно-медленно передвигались на скулах, а побледневший лоб банкира вновь покрывала мелкая испарина. Очередной оратор замолкал, потупив взор, перебирал бумаги, пользуясь передышкой, чтобы собраться с мыслями. А Цернниц каменел, сцепив зубы. Наконец он тяжело переводил дыхание, обмякал, вынимал из кармана платок, и заседание продолжалось. А красавица в это время не торопясь приводила в порядок туалет Цернница, а покончив с этим, отдыхала, затягивалась душистой сигареткой. Увидев поднимающийся над столом дымок, в зале улыбочиво переглядывались. Улыбаться-то они улыбались, но некоторая нервозность все-таки чувствовалась, не все выдерживали, не все спокойно воспринимали.

А кто сможет, кто не дрогнет?

Живые все-таки люди...

Что сказать, жизнь коротка, и каждый старается украсить ее, разнообразить в меру своих финансовых, физических, нравственных возможностей. Иван Иванович Цернциц не был исключением, и маленькая его человеческая слабость воспринималась без осуждения, даже с сочувствием.

Некоторые попытались перенять опыт руководства, но получалось далеко не у всех. Это рискованное дело, оказывается, требовало и сноровки, и стол должен быть соответствующим, опять не все в должной мере владели собой, многие срывались на крики, стоны, на неуправляемые телодвижения. Опять же человек должен обладать некоторой милой испорченностью. Заподозрив подражательство, Цернциц срочно завез и установил всему руководству столы самые обычные, современные, насквозь продуваемые. Под них не то что красавицу, кошку не спрячешь. И распутство, таким образом, пресек, что выдало его как человека нравственного, озабоченного моральным обликом подчиненных.

\* \* \*

Таков был Дом.

Ничего особенного, между прочим. Разве что некоторый архитектурный вызов. Банковские дома все похожи, а если и отличаются в ту или иную сторону, то не столь уж и значительно. Сауна может быть не на первом этаже, а на втором или в подвале, дубовый стол может находиться не в кабинете, а в общем зале с теми же особенностями и потайными отделениями, оборудованными пуховыми перинами или кожаными подушками. Что касается девушек, то их могут приглашать не с конкурса красоты, а с конкурса машинисток, что, в общем-то, одно и то же, поскольку цель преследуется одна. Все мы живые люди, и всем хочется, пока позволяют годы, получить от жизни немного радости, а если эту невинную радость доставляет милая, свеженькая, благодарная девчушка...

И те же банкиры, несмотря на чудовищное количество денег, которыми они ворочают, остаются простыми людьми, чаще всего именно в сокровенных, потаенных желаниях, собственных любому живому существу. И если непрекращающийся шорох, который слышался в Доме, шорох пересчитываемых денег изредка прерывался сдавленным стоном, то что делать, что делать... Стоны смолкали, а деньги начинали пересчитывать с удвоенной скоростью.

Иван Иванович Цернциц был человеком достаточно молодым, лет около сорока, имел плотное телосложение и становился все плотнее, массивнее с каждым годом. Это было хорошо заметно по тому, как часто он менял костюмы. В движениях Цернциц был замедлен, в нем ощущалась некоторая величавость, скорее всего приобретенная по мере роста финансового могущества. Несмотря на потрясающее умение владеть собой, что убедительно проявлялось во время утренних разборок, в нем проскальзывала и откровенная жуликоватость. Вот она, жуликоватость, была врожденной, тут уж не было никаких сомнений, поскольку в самых разных обстоятельствах проявлялась так естественно, уместно, с таким неуловимым изяществом, что люди впадали в сильное изумление. То поерзает на стуле, играя хребтом и поводя плечами, то руку выбросит вперед для приветствия так, что и не поймешь – ладонь протягивает или финкой пытается пырнуть, то хихикнет вдруг в таком месте, где и более интимные звуки произнести неловко. Кстати, эти интимные звуки он тоже исторгал в самые неуместные моменты и всегда при этом радостно смеялся, и все вокруг смеялись, будто услышали нечто потрясающее. То есть можно сказать, что остроумие у Цернцица находилось несколько не там, где у остальных людей.

Что же касается жуликоватости Цернцица, то она имела вполне ясное и простое объяснение. Жуликом был совсем недавно Ванька Цернциц, самым настоящим жуликом, причем довольно невысокого пошиба. Переходя на язык Уголовного кодекса, его можно было назвать мошенником. Он продавал то, чего у него не было, покупал то, чего не было ни у кого, бало-

вался картишками, наперстками, держал киоск по продаже карточек какой-то лотереи, которая никогда не разыгрывалась. Несколько лет он изнывал от зноя и мерз от холода, глядя на мир из железного киоска несчастными своими и бесконечно печальными глазами.

Потом пришли новые времена, какой-то очередной толстомордый премьер узаконил так называемую приватизацию, и Цернциц шустро так, чуть ли не в одну ночь, приобрел завод по производству бетонных плит. Находился заводик в таком глухом и неудобном месте, что хуже некуда – заводской двор рассекала железнодорожная ветка, которая с обеих сторон заканчивалась тупиками. Однако Цернциц прекрасно использовал это гиблое обстоятельство – как-то темной ночью, при свете прожекторов, на свой страх и риск с нанятой бригадой железнодорожных ремонтников взял да и врубился в основную магистраль, получив таким образом собственный выход на главные железные дороги страны. Врезка получилась удачной, новый откос ни у кого не вызывал сомнений, тем более что Цернциц наутро посыпал его семенами газонной травы. Она возшла через неделю, и никому в голову даже не приходило, что этой ветки нет ни на одном плане Управления железных дорог. Цернциц без лишних транспортных затрат, налогов, отчислений мог спокойно отправлять свои самодельные плиты прямо на место армянского землетрясения, получая вдесятеро больше того, что ему было положено.

Ну а дальше все просто настолько, что и говорить неинтересно. Валютные счета, грузовые перевозки – доходило до того, что на своей куцей железнодорожной ветке Цернциц и загружал, и разгружал целые составы. С сытого Запада завозил лежалые конфеты, скисшие колбасы, технический спирт, тапочки для покойников, которые в своей неизбалованной стране продавал как тувельки для выпускного бала. А отгружал лес, металл, хлопок и даже нефть в молочных бидонах.

Было, все было.

А в результате, пожалуйста – Дом, устремленный в небеса, и кабинет на верхнем этаже, среди звезд, серебристых облаков и неопознанных летающих объектов, к которым Цернциц испытывал странную душевную привязанность, подозревая, что летают на них свои ребята, очень близкие ему по жизненным убеждениям.

Черная машина Цернцица подъезжала к Дому всегда в одно и то же время – в девять часов утра. И вахтер, старый фронтовик в золотых лампадах, тут же поправлял стрелки главных часов Дома. И даже если Цернциц опаздывал минут на десять, пятнадцать, двадцать, что бывало чрезвычайно редко, часы все равно устанавливались точно на девять часов, и весь день десятки тысяч служащих работали с учетом опоздания Цернцица.

\* \* \*

В это утро Иван Иванович подъехал вовремя. Едва распахнулась дверца громадной машины с баром и сауной, вахтер бросил взгляд на главные часы – они показывали ровно девять. Он облегченно перевел дух, втянул живот и прижал ладони к бедрам. И десятки людей, оказавшихся в вестибюле, как железные стружки при приближении магнита, повернулись в сторону Главного Банкира и слегка, почти незаметно, склонили головы в его сторону. Разговоры смолкли, смех оборвался, недокуренные сигареты зажаты в кулаки. И, что делать, бледнели лица при появлении Цернцица, явно бледнели. Может быть, и не от страха, а от волнения, от высшей сосредоточенности, сознания важности момента, величия человека, который частой, ерзающей походкой, играя обильными ягодицами, склонив голову, в скромной позе самоуглубленности, помахивая чемоданчиком, входил в вестибюль.

– Рад приветствовать! – хрипло гаркнул ветеран, вытягиваясь еще больше, еще плотнее прижимая руки к бокам.

Цернциц чуть заметно кивнул, чуть заметно поморщился – неожиданно громкое приветствие вахтера заставило его вздрогнуть, и витиевато струящаяся мысль сделала резкий скачок, как перо самописца при подземном толчке.

И все охранники, где бы они ни находились в этот момент, вскочили и втянули животы, насколько это было возможно. Естественно, при этом из-под пиджаков вздыбились рукоятки и стволы пистолетов, автоматов, гранатометов и прочих предметов первой необходимости в любом банковском учреждении. Глава охранников Стыць по оплошности не успел встретить Цернцица у входа и, чтобы исправить ошибку, метнулся навстречу, но не подбежал вплотную, это было бы хамством, он остановился, замер в десятке метров, круто развернулся и пошел параллельным курсом, не приближаясь, но и не отставая от Цернцица.

Хитрый и подбострастный Стыць так точно рассчитал свой путь, что, несмотря на расстояние, отделявшее его от Цернцица, изловчился к лифту подойти первым и нажал кнопку вызова. Двери распахнулись в ту же секунду, поскольку лифт был заблокирован и охранник у щита лишь в последнюю секунду включил рубильник. Внутренность лифта вспыхнула тусклыми зеркалами, приветствуя начальство, приглашая его войти, радуясь возможности услужить в это прекрасное утро.

Цернциц кивнул в знак благодарности и ступил внутрь кабины.

– Войди, – сказал он сипловатым голосом, и Стыць, ожидавший приглашения и опасавшийся, что его не последует, широко и радостно перешагнул порог. Двери захлопнулись, и скоростная кабина взметнулась в небо.

– Отлично выглядите! – осмелился произнести Стыць, не выдержав затянувшегося молчания.

– Все нормально? – спросил Цернциц, глядя в пол. Не потому, что там что-то увидел, нет, просто он не мог или не хотел разговаривать с людьми и видеть при этом их глаза. То ли от стеснительности, то ли опасался выдать какие-то свои мысли, а может, просто не желал видеть в глазах собеседника тайные помыслы и желания.

– Все в порядке! – ответил Стыць, стараясь вложить в свой голос благодарность за беседу. – Ребята на местах... Ничего чрезвычайного не произошло. И не произойдет! – В голосе Стыця отчетливо прозвучал металл.

– Хорошо. – Дверь распахнулась, и Цернциц вышел.

– Мне... С вами?

– Да.

Польщенный Стыць, сияя румяными щеками, устремился вслед за Цернцицем в кабинет, опять же не рядом, а чуть сбоку, чуть позади, почтительно склонив голову и прижав руки к бокам. Сотрудники молча застывали в коридоре, молча вскакивали со своих мест, пока Цернциц проходил мимо. Лишь когда он скрывался за дверью, снова оживали, обретали возможность двигаться, разговаривать и менять выражения лиц.

Целая стена кабинета представляла собой громадное толстое стекло, которое Цернциц не поскупился выписать откуда-то из Германии и нанял для этого специальную платформу. Стекло было чуть ли не в ладонь толщиной и такой потрясающей прозрачности, что его как бы не существовало, и оттого в кабинете постоянно ощущалось нечто жутковатое, провал в бездну, в небо, в звезды. Цернциц иногда подводил к стеклу гостей, с которыми предстояли тяжкие переговоры, и, таким образом, с самого начала вселял в их души холодок страха и неуверенности. Не видя стекла, человек цепенел от ужаса, думая, что перед ним пустота, тем более что коварный Цернциц спрятал за шторами несколько вентиляторов, которые гнали в лицо несчастному свежий воздух пространства и открытого неба.

Цернциц любил свое окно и, время от времени подходя к нему, скрестив на груди руки на манер толстозадого полководца, сломавшего себе хребет где-то в этих местах, любовался закатом, звездным небом, планетами. Похоже, он чувствовал себя наравне с небесными светилами.

Были у него для этого основания, были.

Сев за стол, Цернциц усталым движением придвинул к себе телефон, поднял трубку и словно бы только теперь невзначай увидел застывшего у двери Стыця.

– А, ты еще здесь...

– Как обычно? – спросил тот, так странно подавшись вперед, что эту его непередаваемую позу вполне можно было принять и за поклон, и за готовность куда-то броситься, помчаться, исполнить.

– Да...

– Кого?

– Подбери из новеньких... В этом деле мне нравится некоторая неумелость, – Цернциц смущенно улыбнулся. – На последнем финале мелькала какая-то светленькая...

– Будет, – кивнул Стыць.

– Хотя... – протянул Цернциц в некотором раздумье.

– Слушаю!

– Даже не знаю. – Он подпер ладонью щеку и посмотрел в пространство неба, словно ожидая оттуда совета.

– Я бы так не смог, – сдавленно вырвалось у Стыця, и он тут же прижал мясистую ладонь ко рту, будто брякнул нечто несурзное.

– Как бы ты не смог? – Цернциц услышал его слова.

– В последний момент, в самый-самый... Я бы сам к ней под стол полез.

– А, – снисходительно улыбнулся Цернциц. – Понимаю... В этом тоже что-то есть... Но как посмотреть... Здесь требуется самообладание, выдержка... Умение оценить... Но главное в другом...

– Понимаю, – Стыць проглотил комок в горле. – Это не каждому по зубам.

– По язычку, – поправил Цернциц. – Она уже здесь?

– Вчера вы сказали, что пусть останется та же... И я ее предупредил.

– Ну что ж... Пусть. А после обеда сменишь...

– Сделаю.

– И еще, – Цернциц встал из-за стола, подошел к окну, окинул взглядом мир, постоял, скрестив руки на груди, как это любил делать, глядя на поле сражения, все тот же мордатый, низкорослый полководец. – И еще, – Цернциц вернулся, сел, механически заглянув под стол, – сегодня намечается гулька... Банкет, как выражаются ученые люди.

– Все готово! – Стыць уже хотел было уважительно добавить «Иван Иванович», но спохватился – не имел он права обращаться к Цернцицу по имени-отчеству, вообще как-то обращаться к нему. Только выслушивать, только исполнять, только беспрекословно. Это несколько его не задевало, он искренне полагал, что так и должно быть, так и положено общаться с большим человеком. Если бы он произнес: «Все готово, Иван Иванович», это было бы все равно, что собака, которой сказали «фас», ответила бы: «Хорошо, Иван Иванович».

– Народу будет много, публика серьезная... Весь цвет города...

– Все готово! – повторил Стыць, перебив Цернцица и не заметив этого.

– Подожди, – Цернциц поморщился. – Не торопись... Все произойдет не в ресторане, а здесь... На нашем этаже.

– Но... – Стыць был растерян.

– Здесь, – повторил Цернциц. – Ресторан... Это пошло. Пьянка, напьются, расплзутся, обблуются...

– Но цвет города...

– Об этом самом цвете я и говорю. Постарайся, чтобы все хотя бы оставались на ногах. Столы накрыть в большом фойе... Стульев не надо. Пусть ходят, пьют, едят, общаются... Смотри только, чтобы ничего ценного не сперли.

- Цвет города?
- Да! – первый раз повысил голос Цернциц. – Я говорю именно о них, об этих голодранцах вонючих! Заведи их сюда, во всяком случае, не препятствуй, пусть полюбуются сверху на свой задрипанный город...
- Да они обалдеют!
- В этом и цель. Никто из них не был на такой высоте... Ладно, обмоем мою обновку... Купил универмаг... Не представляю, на фига он мне... Но купил.
- Сколько гостей ожидается?
- Где-то около тысячи... Как всегда, ханыги просочатся, любители выпить и пожрать...
- Ни единого! – заверил Стыць с непонятной яростью.
- Хорошо бы, – усмехнулся Цернциц. – Сможем мы принять тысячу человек?
- Примем.
- И проводим?
- И выпроводим. – Маленькая поправка, которую сделал Стыць, видимо, понравилась Цернцицу. Две лишние буквочки поставили гостей на подходящее им место. – С почетом и уважением.
- Подойди сюда, – Цернциц поманил Стыця пальцем, и тот, замешкавшись, бросился к столу, не зная, с какой стороны подойти к банкиру. – Смотри... Вот пригласительный билет.
- У моих ребят уже есть образец.
- Помолчи, я не спрашиваю, что есть у твоих ребят и чего у них нет!
- Виноват!
- Вот пригласительный билет. Есть сведения, что в типографии их отпечатали чуть ли не вдвое больше, чем заказано. Значит, будут рваться лишние. А их быть не должно.
- Понял!
- Смотри сюда... Видишь, в этом углу вдавленная полоска, канавка? Я ногтем провел... Видишь?
- Очень хорошо вижу.
- Так вот, пропускать только тех, у кого на пригласительном билете будет прочерк ногтем.
- Усек?
- Все как есть.
- Пусть хоть в бриллиантах приходят, но если полоски нет – от ворот поворот. Всем, кого желаю видеть, я сам разослал приглашения. Городские власти, банкиры, директора... Ну и, конечно, теневой бизнес.
- Мафия? – улынулся Стыць.
- Нет, – жестко сказал Цернциц. – Теневой бизнес. С мафией я не вожусь. И забудь это слово.
- И это... Девушки?
- Пусть приходят победительницы всех наших конкурсов. Не участницы, – Цернциц поднял указательный палец, – а именно победительницы.
- Но их тоже наберется добрая сотня...
- Тем лучше.
- Форма одежды парадная?
- Я бы им предложил вообще прийти без одежды, но, боюсь, не все поймут. И еще, – Цернциц помолчал. – Подумай об укромных уголках... Поменьше света, побольше мягкой мебели... Если у кого-нибудь с кем-нибудь завяжется... Не препятствуй. Это придаст некоторую пикантность нашему сборищу, а?
- Да город взвоят от зависти!
- Пусть воеет! Кстати, о твоих ребятах... Укромные уголки не для них. Предупреди, это строго. Твои сегодня должны быть бесполоыми. Как евнухи, понял?

– Так точно!

– Боюсь, одних победительниц будет маловато, а? – Цернциц вопросительно посмотрел на Стыця. – Добавь по своему усмотрению... Всех, кто здесь побывал, – Цернциц кивнул под стол, – пусть приходят... Надо как-то поощрить девочек.

– Но это тоже полсотни.

– Пусть, – повторил Цернциц. – Так... В ресторан команда спущена, напитки завезены, закуски в наличии... Когда собирается высший свет... Гости наверняка пожелают сунуть за пазуху или в сумочку бутылку шампанского, хрустальный фужер, пепельницу, ложки, вилки, рюмки, стопки... Некоторые котлетами пакеты набивают... Не препятствуй.

– Да они же все разнесут! – гневно воскликнул Стыць, бережливой натуре которого было невыносимо даже думать о том, как гости будут растаскивать добро. И кто – банкиры, миллионеры, владельцы вилл на Кипре и в Испании...

– Пусть, – смиренно повторил Цернциц. – Дольше будут помнить этот вечер, его хозяйина... И потом, знаешь... Каждая унесенная вещица порождает в душе воришки чувство вины.

– Вина будет, когда за руку схватишь! – стоял на своем Стыць. – Когда при людях из кармана вынешь и на стол бросишь! Когда под зад коленом! Когда по морде мухобойкой!

– Ничего, – Цернцицу, видимо, понравились слова Стыця и его злоба против мелких воришек, поэтому голос его оставался таким же негромким и смиренным. – Авось... И потом... Это ведь все куплено на их деньги, если уж называть вещи своими именами, хе!

– На чьи бы деньги ни куплено, а у вещи хозяин есть! – Стыць твердо стоял на своем.

– Все. Иди. Гости начнут съезжаться в три. После трех в Дом впускать только гостей. И не забудь про главное. – Цернциц настойчиво постучал пальцем по дубовой поверхности стола, как раз по тому месту, под которым находилось оборудованное местечко для победительниц конкурса красоты.

\* \* \*

Оставшись один, Цернциц еще некоторое время размышлял о предстоящем вечере, потом отправился по отделам, дав Стыцю возможность выполнить его главное поручение. Когда же он, вернувшись в кабинет, чтобы провести совещание руководящего состава банка, заглянул под стол, то с екнувшим сердцем убедился, что задание выполнено и стол приведен в рабочее состояние. В полумраке подстоля Цернциц увидел встревоженно блеснувшие глаза красавицы. Побледнев от предстоящего, Цернциц опустил в кресло и остро глянул на собравшихся.

Его надежные соратники сидели в первом ряду с блокнотами, чтобы тут же записать все указания, чтобы ничего не упустить, чтобы тут же броситься выполнять. Прошло совсем немного времени, минут десять-пятнадцать, и оцепеневшие от напряжения подчиненные с облегчением почувствовали, что могут наконец перевести дух – все заметили, что глаза у Цернцица начали стекленеть, их явно повело к переносице, взгляды левого и правого глаза пересеклись, как прожектора в ночном небе. Тело Цернцица напряглось, и в гробовой тишине послышался сдавленный стон, просочившийся сквозь сжатые зубы. Все деликатно опустили головы и принялись что-то старательно записывать в свои роскошные блокноты. И при этом почти незаметно коснулись друг друга локотками, как бы обменялись впечатлениями – дескать, понижаем, дескать, сами живые люди. А подняли головы, когда Цернциц уже вытирал лоб белоснежным платочком.

– Итак, – произнес Цернциц с тяжким выдохом. – Итак... Сегодня мы должны предстать перед нашими гостями, перед всей этой городской шелупонью в наилучшем виде. Все, что они увидят здесь, все, что они съедят, выпьют, почувствуют, должно не просто им понравиться,

они обязаны обалдеть... Слушаю предложения. Люцискин... Давай ты, у тебя всегда в голове черт знает что творится. Настал твой час, Люцискин!

– А почему я? – С места поднялся грузный и бесформенный первый зам Цернница.

– Не тяни.

– Ну что ж... Пусть так, – просипел Люцискин таким тонким голосом, будто струя воздуха с трудом протискивалась сквозь его голосовые щели. – Если вы, Иван Иванович, возьмете на себя труд провести наиболее уважаемых гостей по нашим владениям... К ним не скоро вернется дар речи. Компьютеры, сейфы, автоматика, связь. Предложите им поговорить с заокеанским президентом, с тевтонским канцлером, Жаком-Шмаком...

– Понял. Дальше, – Цернниц записал несколько слов в блокнот.

– Я вот еще что подумал... – Люцискин помялся, посмотрел на Цернница и тут же стыдливо опустил глаза, словно бы не в силах преодолеть совестливость.

– Ну, скажи уже наконец, что ты такое подумал, что заставляет тебя краснеть при людях?

– Я подумал, что можно было бы одному-второму позволить... Остальные просто захлебнутся от зависти и ущербности, просто захлебнутся, твари поганые! – Глаза Люцискина при этом сверкнули зло и даже свирепо, из чего можно было заключить, что как раз он-то и окажется среди завистников и ущемленцев.

– А позволить-то им что? – Цернниц начал терять терпение.

– Ну, это... Недолго посидеть в вашем кресле... В котором вы сейчас восседаете, Иван Иванович. – Люцискин залился румянцем пуще прежнего.

– Посидят, и что?

– Ну, это... Со всеми вытекающими последствиями.

– Вытекающими?

– Последствиями.

– Ничего не понимаю. – Цернниц беспомощно посмотрел на участников совещания, но все тоже стыдливо опустили глаза.

– Я имею в виду по полной программе, – продолжал Люцискин. – По полной программе обслуживания... Я имею в виду...

И только тогда Цернниц понял, на что намекал бесформенный от обилия тела Люцискин. А поняв, заглянул под стол, чтобы убедиться, что мерцающие глаза смуглой красавицы, как и прежде, полны любви и обожания, запретной любви и порочного обожания.

– Чтобы хоть один человек... На короткое время... Мог ощутить величие... И прочие удобства... – продолжал Люцискин.

– Да? – переспросил Цернниц. Видимо, такая мысль не приходила ему в голову. – Да? – снова повторил он, уже представляя влиятельных лиц города в своем кресле. И взгляд его опять пересекся с мерцающим в полумраке подстоля взглядом красавицы. – А что... Это будет забавно, хе! Пусть глава администрации или представитель президента посидят здесь минут по пять, десять... чтобы было что вспоминать до конца дней своих, а?

Сдержанный уважительный смешок был ему ответом.

– Прокурор города тоже заслуживает подобного знака внимания... Правда, я не уверен в чистоте его белья...

– Может быть, после сауны? – предложил Люцискин. – Будет повод выдать им бельишко поприличнее...

– В этом что-то есть, – согласился Цернниц. – Дальше... Посибеев!

Поднялся со своего кресла Посибеев.

Рост у него был просто потрясающий – два метра пятьдесят восемь сантиметров, а держал его Цернниц в своей команде только из-за роста. Это привлекало внимание, вызывало интерес, а кроме того, Посибеев был своеобразным символом Дома – он возвышался над людьми, как Дом возвышался над прочими строениями города.

– Если, Иван Иванович, – густым рыкающим голосом начал Посибеев, – пригласить их в ваш кабинет, подвести к окну, чтобы в лицо им ударил ветер пространства... Сорок квадратных метров стекла без единой перегородки... Да у них все похолодеет от ужаса.

– И это все? – разочарованно протянул Цернциц.

– Вручить им по хорошему пол-литровому фужеру французского коньяка...

– Хороший коньяк бывает только в Грузии, а уж никак не в худосочной Франции, – как бы между прочим поправил Цернциц.

– Значит, надо наполнить фужеры грузинским коньяком.

– Или армянским, – продолжал делиться познаниями Цернциц.

– Или армянским, – тут же согласился Посибеев, охотно согласился, видимо, тоже был знаком и с грузинскими, и с армянскими коньяками. – Ни один из гостей не осмелится оставить хоть каплю, они будут вылизывать эти фужеры, насколько позволит длина их поганых языков!

– Сказано хорошо... Но... Это все?

– На этаже немало укромных уголков... Пусть бы наши победительницы конкурсов... Ради почетных гостей... Вспомнили бы о своих прелестях... После коньяка гостям наверняка захочется в этих прелестях убедиться...

– Уже подумали об этом, Посибеев. Садись.

– Может быть, оркестр...

– Заказан.

– Танец живота...

– Вот ты и исполнишь, – сказал Цернциц, проявив и смелость мышления, и чувство юмора, и твердость руководителя. Все сотрудники дружно, но сдержанно рассмеялись. Кроме Посибеева – он-то прекрасно знал, что ни единого слова Цернциц не произносит просто так, походя. Если слово выскочило, даже случайно, даже по оплошности – оно должно воплотиться в дело. На свое место Посибеев сел бледный, как... как газетный лист – с сероватым оттенком. – Получишь в костюмерной шаровары, – продолжал Цернциц без улыбки, – чалму, тапочки с задранными носками... Ну и все, что требуется.

– А что еще требуется? – негромко вымолвил Посибеев – он даже сидя возвышался над всеми.

– У тебя между ног что? – строго спросил Цернциц.

– Ну, как, – Посибеев опять поднялся. – Что положено, то и есть.

– А что должно быть у исполнительницы танца живота? – продолжал допытываться Цернциц, будто сам не знал – что там у нее находится.

– Ну, как... – совсем растерялся Посибеев.

– У нее там наличие или отсутствие?

– Отсутствие...

– Правильно, – кивнул Цернциц. – А вдруг кто-то из гостей захочет с тебя шаровары сдернуть? Представляешь? И он сразу поймет, что мы его дурачим... Вместо бабы мужика подсунули... И доверие к нашему банку резко упадет! Ты же разоришь всех нас, по миру пустишь! – сурово произнес Цернциц.

– Чего это они будут сдергивать...

– Да я сам не откажу себе в удовольствии! – воскликнул Цернциц и посмотрел на всех сотрудников, требуя поддержки. – Все захотят сделать то же самое!

– Что же получается... – пробормотал Посибеев.

– А что получается? Ты предложил? Твое предложение принято. Вот и все. Между ног у тебя должно быть именно то, что требуется для исполнительницы танца живота.

– Что же мне... удалять?

– Как хочешь, – безжалостно ответил Цернциц. – Твое дело. Сейчас пол меняют, как перчатки.

– Не успею...

– Да? – удивился Цернциц. – Ты прав, – он посмотрел на часы... – Времени осталось немного. Ладно, так и быть, наложи какой-нибудь муляж... Полохматее. Вдруг кто-то из гостей глаз положит... Городской прокурор, я знаю, любит высоких и стройных. – Цернциц наконец позволил себе улыбнуться.

– И что? – пролепетал Посибеев, почти теряя сознание.

– А что? Ничего. Тащи его в укромный уголок – это тоже твое предложение.

– А там?

– Покажи, на что способна исполнительница эротического танца. Титьки надо тебе нацепить... Только не перестарайся, три-четыре, не больше. А то он не поверит, что настоящие.

– А если будет четыре груди... Поверит?

– Скажешь, что у него после коньяка двоится, – суровость тона Цернцица убеждала Посибеева, что разговор идет всерьез и все подробности, которые обсуждаются, подлежат неукоснительному исполнению.

Заседание продолжалось, но недолго. Все разошлись, получив четкие указания – что делать, к которому часу доложить об исполнении. Проводив взглядом замешкавшегося в дверях Посибеева, который надеялся, что шеф окликнет его, сжалится и отменит свое указание, Цернциц сунул руку под стол, нащупал там невидимое лицо красавицы, похлопал ее по щеке, благодарно похлопал, поощрительно.

И снова обратился к своему блокноту, продолжая заносить на чистые страницы идеи, предложения, замыслы, которых у Цернцица всегда было предостаточно. На некоторое время, правда, замер, словно бы в задумчивости, глаза его сошлись к переносице, фигура оцепенела, но он быстро справился с собой, вытер лоб платочком и продолжал работать.

Все этажи Дома жили в обычном своем распорядке – бегали по коридорам чиновники с папками, лифты с приглушенным свистом взмывали ввысь или проваливались в преисподнюю, на дне которой жил город. Стыщ со странными своими существами отсеивал ненужных посетителей, но ширился, распространялся по этажам слух о грандиозном приеме, который устраивает Цернциц на верхнем своем этаже для высших слоев общества. И десятки тысяч служащих горько вздыхали, пытаясь унять свое разыгравшееся воображение – оно рисовало им до того соблазнительные картины, до того будоражащие, что только стоны, только стоны исторгали их души, обделенные всеми ласками мира. А в том, что они обделенные, их с утра до вечера убеждали все программы телевидения, все радиостанции и газеты, захваченные наемниками Билла-Шмилла, Жака-Шмака, Коля-Шмоля и прочих столпов цивилизации. Конечно же, им проще было управлять людьми обделенными, нежели свободными и независимыми. Обделенные кидаются на любое обещание, посул и бывают счастливы от одного лишь ласкового похлопывания по щеке.

А на самом верхнем этаже кипела подготовительная работа. Освобождали зал от кресел, устанавливали столы, вносили напитки и закуски. Небольшой оркестрик, выписанный по такому случаю из дальнего зарубежья, уже настраивал свои инструменты, самые красивые красавицы страны порхали по этажам в передниках официанток, весело смеялись и радовались жизни.

Цернциц сосредоточенно переходил от одной группы людей к другой, но замечаний не делал, понимая, что поздно делать замечания, что он будет лишь сбивать людей с толку. Понимал и то, что само его присутствие посильнее всего, что он может сказать. Издали заметив плотноватую невысокую фигуру в черном костюме, люди невольно начинали бегать быстрее, движения у всех становились более четкими и осмысленными. Впрочем, это вполне естественно – прибавляет разума и начальственный окрик, и задержанная зарплата, и пощечина женщины, и мошенник, надувший на сколько-то там килограммов денег.

Как человек трезвый и практичный, Цернциц понимал, что сценария, который бы до последнего пунктика предусматривал все подробности торжества, быть не может. Да он и не нужен такой. Пусть будут неожиданности, случится что-то непредвиденное – это только украсит праздник.

Не знал Цернциц, какие неожиданности ему предстоит пережить, не знал и потому был спокоен. В мыслях своих он допускал нарушения легкие и приятные – после первых стаканов все пойдет немного наискосок, наперекосяк, перепутается порядок выступлений, тостов, и поэтому его задача состоит лишь в том, чтобы выдержать затеянное хотя бы в общих чертах.

О происшествиях злоумышленных он не думал, это ему и в голову не приходило, хотя уж настолько был предусмотрителен, обладал настолько чувствительной, истонченной жизнью шкурой, что должен был насторожиться, забеспокоиться, заволноваться...

Нет...

Не насторожился, не беспокоился, не заволновался.

А напрасно, ох напрасно!

Ну, да ладно...

\* \* \*

Наступил вечер.

Город погрузился в жаркие летние сумерки.

В надежде вдохнуть свежего ночного воздуха люди высыпали на улицы, не в силах больше тесниться в душных бетонных комнатухах, пропитанных запахами жареной картошки, вареных макарон, распаренного белья. Но на улице воздух был такой же разогретый и влажный, разве что бездонное небо, утыканное остренькими звездочками, давало ощущение прохлады.

Вдоль улиц тянулись ряды мощных контейнеров, предназначенных для железнодорожных перевозок. Из них делали киоски – достаточно было покрасить такой контейнер в легкомысленный голубенький или розовый цвет, электросваркой вырезать дыру для прилавка и дверь для входа-выхода. Толстая ребристая сталь этих сундуков позволяла выдерживать взрывы средней мощности, взрывы, которые выворачивали наизнанку танки в Чечне и Таджикистане, в Афганистане и Сербии. А взрывы в городе гремели постоянно – между киоскерами шла кровавая борьба за покупателя. Уж если оптовые склады были одни для всех, цены были везде одинаковы, то привлечь покупателя можно было только одним способом – взорвать конкурента.

И взрывали.

И пока бедолага, если, конечно, оставался жив, подбирали еще более мощный контейнер, уже для морских межконтинентальных перевозок, пока нанимал бригаду с электросварочным аппаратом, соседи торговали. Потом уже этих соседей взрывали, поджигали, затапливали водой и газом, в неприметные щели заливали бензин, вспыхивающий сам по себе и выжигающий не только товар и продавцов, он даже контейнерную сталь прожигал насквозь. Если и это не помогало, в дело шел боевой напалм. Его щедро поставлял в страну Билл-Шмилл – только взрывайте, только уничтожайте все, что под руку попадет, только не останавливайтесь... Поэтому вдоль улиц попадалось так много обгорелых киосков, они словно бы выдержали не просто вражескую бомбардировку, а взрыв не одной атомной бомбы.

Торговали в киосках всем, что можно было себе вообразить – от искусно изготовленных мужских и женских подробностей до жвачки, от кислой колбасы до отравленных спиртов – только ешьте, только пейте, только травитесь и развращайтесь – напутствовали свои товары Билл-Шмилл, Джон-Шмон, Жак-Шмак, Коль-Шмоль и прочая торговля.

В этот вечер если что и покупали, то только напитки – подсвеченные изнутри киосков, бутылки сверкали всеми цветами радуги, заманивая и обольщая. Но только опытные и разо-

чарованные в жизни мужики отчетливо понимали, что чем ярче напиток, чем золоченее этикетка, чем причудливее емкость, тем зелье отвратнее и ядовитее. И оставались живы, время от времени попросту приникая к водопроводным колонкам, которые еще кое-где остались со времен жестоких тоталитарных режимов.

В небе висела громадная круглая луна безукоризненно правильной формы, освещающая город мягко и демократично, поскольку равное количество скудного света доставалось и центральным площадям, и окраинным переулкам, и темным, шуршащим крысами и бомжами свалкам. А чуть пониже луны, резко отличаясь от нее угловатыми формами, прямыми гранями, стеклянными плоскостями, мерцал кристалл Дома.

На всех этажах, кроме самого верхнего, свет был оставлен только дежурный, слабый и тусклый, он-то, пробиваясь сквозь затемненные золотым напылением стекла, и создавал эти самые мерцающие поверхности. В стенах Дома, в его стеклянных пролетах, в громадных окнах отражались луна, звезды, а то и целые созвездия, отражались пролетающие кометы, метеоры, звездные дожди, серебристые облака и неопознанные летающие объекты. Отражалось все, чем жили небо, космос, вселенная.

И только самый верхний этаж был ярко освещен. Снизу, из города, были хорошо видны полыхающие торжеством окна. Возбужденное воображение горожан легко дорисовывало то, чего видеть они не могли – мелькающие в окнах тени нарядных людей, красавиц с обнаженными плечами, мордатых банкиров, официантов, набранных из разогнанных танцоров Большого театра, из разогнанных спецподразделений управления безопасности, из несостоявшихся космонавтов и чемпионов Олимпийских игр по гимнастике. Воображение рисовало накрытые столы, бриллиантовые кольца на высоких шеях победительниц конкурсов красоты. Конечно же, все они были в длинных платьях с разрезами от подмышек до пяток, с разрезами, позволявшими убедиться всем желающим, что свои короны они получили заслуженно.

Да, Дом, празднично устремленный в ночное небо, взметнувшийся над приземистым угрюмым городом, являл собой зрелище поистине прекрасное. И Цернциц, затеявая это сооружение, смутно надеялся на благодарность горожан, которым он, можно сказать, дарил такое вот украшение города, украшение неба, украшение жизни. Но он жестоко ошибся, как это чаще всего и случается с людьми, которые вознамерились кого-то осчастливить. Не желают люди, чтобы их кто-то осчастливил, чувствуют в этом подвох, обман и оскорбление. И чаще всего оказываются правы.

Благодетелей благодарят, но не любят, таят в душе недоброе и не упускают случая показать свое пренебрежение. И этим как бы восстанавливают собственное достоинство. Благотворения воспринимаются вовсе не подарками, а попыткой унижить, поставить на место, напомнить и постоянно напоминать, кто в этой жизни хозяин, а кто работник. Да, люди, как и тысячи лет назад, делятся на хозяев и работников, и, похоже, так останется всегда. Попытка изменить это соотношение в отдельно взятой стране окончилась плачевно.

Осознав это, Цернциц завел охрану и поставил во главе ее усердного и бдительного до свирепости Стыця. И навсегда выбросил из головы все надежды на людскую благодарность. И тоже, тоже оказался прав.

Действительно, на улицах города не было людей с восхищенными взглядами, устремленными в поднебесье, не слышалось восторженных слов о невиданном кристалле, который вдруг, в течение одного года, вырос из лопухов и отбросов на месте городской свалки. Раньше горожане боялись даже приближаться к ней, поскольку водились там одичавшие стаи собак, среди которых попадались очень породистые, одичавшие стаи подростков, среди которых попадались дети очень больших людей, породистых, можно сказать. Подростки были куда более опасными, нежели псы, более безжалостными и кровожадными. Случалось, забивали до смерти стариков, сжигали пьяных. И во всем этом находили смысл жизни, были злы, горды и обидчивы.

Прохожие изредка поглядывали на мерцающий кристалл, который пронзал их небо, охотно обсуждали его обитателей, но обсуждение было осуждающее.

– Гуляют, – слышалось в ночной, истерзанной зноем толпе.

– Отчего же не гулять... Вверху прохладно... И я бы не отказался.

– А я бы отказался!

– Врешь! – взвился невидимый в толпе собеседник. – Врешь! Ни за что не поверю! Не сможешь отказаться! Не сможешь! – удаляясь, он все еще продолжал клеймить простака с такой остервенелостью, будто ему была нанесена смертельная обида.

Как бы кто ни относился к Дому, но получилось так, что после его постройки вокруг образовалось нечто вроде кольца, по которому двигался транспорт, гуляли в скверах люди, располагались торговые ряды и бабки, пытающиеся продать хлеб, водку, молоко, сигареты. Человек, решивший прогуляться, просто вынужден был кружить вокруг Дома, видеть, ощущать его космические размеры. Небо, вспоротое этим кристаллом, многие воспринимали как осквернение святыни.

А между тем люди, которых не уязвляла величественность Дома, а таких было совсем немного, заметили, что над Домом кружит вертолет, и его хищная тень возникает то с одной стороны, то с другой. Потом вертолет исчез, и было такое ощущение, будто он приземлился на крышу Дома.

Это маленькое происшествие никого не взволновало, осталось без внимания, поскольку Дом часто посещали вертолеты, для них была сделана специальная площадка, да и сам Цернциц улетал на вертолете в аэропорт и возвращался оттуда – это было и быстрее, и безопаснее.

Никого в городе кружение вертолета не насторожило, и мерное движение людей по дорожкам вокруг Дома продолжалось. Никто даже предположить не мог, что отныне, с этих вот секунд, прежняя привычная жизнь в городе, в стране, на планете прекратилась и началась другая, по другим законам. Впрочем, можно сказать, что началась жизнь, которая не подчинялась никаким законам. Да, люди, не торопясь, описывали прогулочные свои круги, не подозревая, что живут уже в другую историческую эпоху, а прежняя – наивная, бестолковая и простодушная – ушла безвозвратно.

Надо же, покружился вертолет, опустился на крышу Дома, а на Земле началось нечто новое, странное, непредсказуемое. Многие люди приняли перемены с радостью, оказывается, немало есть дураков, которые любым переменам счастливы – улучшают они их жизнь или вообще ведут к скорому концу. Их радует сам факт перемен, по дурацки своей они думают, что жить хуже, чем они живут, невозможно. А потом годы и годы вспоминают свою прежнюю жизнь, и горькие слезы утрат наворачиваются на их глупые глаза...

Все.

С новой эпохой вас, господа хорошие.

\* \* \*

Праздник на верхнем этаже Дома продолжался уже несколько часов, и все говорило о том, что закончится он не скоро, сил у гостей и угощений у хозяина явно хватало до утра. Глава администрации Бельниц, человек мордатый и мясистый, начальник милиции Собакарь, тот же Суковатый и другие почетные гости покорной свитой ходили за Цернцицем, а тот, упиваясь ролью хозяина, водил их в свой кабинет, позволил каждому посидеть на председательском месте, с которого гости поднимались совершенно потрясенные, показывал панораму города, и опять гости испуганно восхищались, а их жены тут же принимались искать свои дома и окна, попискивали в сладком ужасе и жались друг к дружке. Потом Цернциц безжалостно отсек этих полноватых коротконогих дам, препоручив их своим заместителям, а сам повел гостей в другой зал, где царствовали иные женщины – победительницы конкурсов. Начальство поначалу

было испуганно шарахнулось от красавиц, но те проявили столько нежности и обожания, что задерганные суровыми обязанностями мужчины быстро освоились и потянулись, потянулись к ним с не угасшими еще мужскими желаниями.

Цернниц пьяно улыбался, делал руками плавные, округлые движения, что-то говорил, не замечая даже, что его никто не слушает, а если бы кто и прислушался, то все равно ничего бы не понял. Цернницу и не нужно было, чтобы его понимали, он наслаждался ролью хозяина, радовался тому, что вечер идет прекрасно, что гости потрясены и подавлены.

Официанты без усталости носились между гостями с подносами, уставленными изысканными закусками и напитками, проявляя чудеса ловкости и сноровки. Будь гости потрезвее, будь официанты менее озабочены, возможно, кто-нибудь и обратил бы внимание на то, что один из официантов ведет себя несколько иначе, нежели остальные. Он не старался угодить гостям, не носился между столами, а если и появлялся, то поднос его был пуст, а сам он больше смотрел по сторонам, высматривая что-то одному ему известное. Была еще странность – он все время взглядывал на часы. И уж совсем был бы поражен наблюдательный гость, если бы увидел, как официант, прислонив свой поднос к стене, прошмыгнул в узкий коридор, нащупал в полумраке незаметную дверь, врезанную в дубовую панель, и скользнул в нее, тщательно заперев за собой. Вынув фонарик, официант осветил узкую железную лестницу. Поднявшись на два этажа, он оказался еще перед одной дверью, стальной. Видимо, он был здесь не первый раз – ничто его не удивляло, ничто не останавливало, не озадачивало. Осветив фонариком замочную скважину, он вынул заранее приготовленный ключ и, не торопясь, открыл дверь. Она поддавалась тяжело, с ржавым скрипом.

Выйдя на крышу, официант опасливо осмотрелся по сторонам. Но все было спокойно, и он шагнул на открытое, залитое лунным светом пространство. Некоторое время официант напряженно всматривался в темноту, потом снова вынул фонарик и помахал им из стороны в сторону, подавая кому-то сигнал – иначе его действия понять было нельзя. Достав из кармана куртки небольшой передатчик, размером с пачку сигарет, официант выдернул из него антенну.

– Алло! – сказал он негромко. – Меня слышно? Ответьте... Меня слышно?

– Ах ты, тварюга! – услышал он голос позади себя и быстро обернулся. На него мчалось существо из команды Стыця. Будь официант менее увертлив, наверняка был бы смят, опрокинут, а то и попросту сброшен вниз, на такую далекую, почти недоступную землю. Но он успел отшатнуться, и существо пронеслось мимо, жарко дыша яростью. А пока останавливалось, разворачивалось и снова набирало скорость, чтобы все-таки смять официанта, тот с некоторой замедленностью в движениях вынул из-за пояса пистолет с удлиненным стволом и, не произнося ни единого слова, несколько раз бесшумно выстрелил в несущееся прямо на него свирепое существо.

Охранник остановился в двух шагах, в его глазах не было ни страха, ни боли. Только с удивлением смотрел он на пятна крови, расплывающиеся по его белоснежной рубашке.

– Ну? – проговорил официант с улыбкой, понимая, что существо доживает последние секунды своей жизни. – Что скажешь напоследок?

– Ах ты, падлюка, – прошептало существо. – Ах ты, падлюка...

И рухнуло на разогретую за день крышу. Продолжая шептать проклятия, охранник ворочался, и с каждым его движением из нескольких ран в груди выдавливалась кровь, черная в желтом лунном свете.

Официант уже не обращал на него внимания. Сунув пистолет за пояс, он снова взял передатчик.

– Алло! Меня слышно?

– Слышим тебя! – пропищало из коробочки. – Хорошо слышим!

– Я на крыше.

– Как дела?

- Все в порядке. Повторяю – все в порядке.
- Действуем по плану?
- Все по плану, все по плану, – несколько раз повторил официант, опасливо оглядываясь по сторонам – не несется ли на него еще один охранник.
- Можно приземляться?
- Можно. Оставляю на крыше фонарик... Луч указывает на вход... Повторяю – луч фонарика указывает на вход.
- Понял. Приближаемся.
- Спускайтесь по лестнице, дверь открыта... Она ведет в коридор... Там сразу все увидите... Я буду в толпе.
- Раздайся море, говно плывет! – прозвучали в эфире странные слова, но официант, похоже, знал, что они означают и кто их может произнести. Чуть слышный шорох за спиной заставил его вздрогнуть. Не оборачиваясь, он мгновенно отпрыгнул в сторону и успел как раз вовремя – на то место, где он только что стоял, откуда-то сверху, с вентиляционной надстройки свалился еще один охранник. Все с той же замедленностью официант вынул пистолет и опять сделал несколько бесшумных выстрелов – на этот раз в голову существа, превратив ее в бесформенное месиво.

Положив включенный фонарик так, чтобы его узкий луч указывал на стальную дверь, он отошел в сторону и оглянулся. Не заметить фонарик было невозможно. Подойдя к самому ограждению, официант всмотрелся в ночное небо. И увидел то, что искал, – несколько движущихся среди звезд огоньков вертолета. Замерев на секунду, официант услышал даже далекий гул мотора, который становился все громче, внятнее. Значит, вертолет был примерно в трех километрах, значит, через несколько минут будет здесь. А через пять-семь минут начнутся события, и встретить их он должен среди гостей, в толпе, с подносом в руках.

Сбежав по железной лестнице, официант, не открывая двери в коридор, прислушался. Все было спокойно, рядом никого. Тогда он решительно открыл дверь, вышел, но оставил ее приоткрытой, чтобы свет из коридора служил направляющим лучом для его друзей, которые появятся здесь через несколько минут. Проскользнув между гостями, стараясь не потерять ни секунды, он протиснулся к стойке, взял уже приготовленный поднос, уставленный бокалами с шампанским, взвесил его на руке, успел даже подмигнуть красавице, стоявшей за стойкой, – она тоже была из победительниц конкурса, и на божественной головке ее сверкала бриллиантами небольшая золотая корона. Иногда Цернций мог расщедриться и на такие награды.

Надо сказать, что все победительницы были не просто хороши собой, они отличались неизменно легким, веселым нравом, это было не менее важно для победы, чем длина ног или форма груди. И красавицы, победившие в этой борьбе, обязаны были постоянно улыбаться, радоваться жизни и радовать других. Впрочем, жизнь, которая открывалась перед ними после победы, позволяла без больших усилий держать улыбку. А кто не мог улыбаться по любому поводу и даже без всякого повода, те уходили, их не держали, они были предназначены для другой жизни, полной трудов и забот. Что делать, есть люди, которые именно в бесконечной жизненной суете находят и смысл, и даже радость своего существования.

Анжелика (запомните это имя) была из тех, кто мог улыбаться всегда и везде, причем делала это с потрясающей искренностью. Первой красавицей она была не только здесь, в Доме. По совершенству линий юного тела, обольстительности и жизнерадостности Анжелика обошла всех красавиц мира и привезла золотую корону из далекой Южно-Африканской Республики. Конечно, корона была не из чистого золота, конечно, бриллианты были фальшивыми, но Цернций не терпел в Доме ничего поддельного. И когда Анжелика вернулась с победой, он взял ее корону, вызвал лучших ювелиров из Лондона и Амстердама, из Багдада и Мандрыковки (а Мандрыковка последнее время славилась своими ювелирами) и велел им изготовить копию, но из материалов самых натуральных. И еще велел ювелирам не скупиться в расходовании этих

материалов. Он позволил изменить форму короны, сделать ее более торжественной и величественной, но чтобы не потеряла она легкости, не стала бы тяжелой и громоздкой, чтобы не клонилась под ней божественная головка, и чтобы нравилась она Анжелике, и чтобы первая красавица всех стран и народов носила ее с радостью и улыбалась бы при этом непритворно и весело.

Вот такая корона была на Анжелике. Бриллианты, вправленные в золото, сверкали острыми слепящими бликами, создавая радужный ореол не только вокруг головки Анжелики, но и вокруг лысеющего черепа самого Цернница.

– Как поживаешь, Анжелика? – спросил официант без интереса, скорее озабоченно.

Красавица сразу почувствовала разлад между словами официанта и его мыслями, но ответила, как и принято было в Доме, с сияющим взглядом:

– Все лучше, Саша, все лучше! А ты как поживаешь?

– Тоже ничего.

– Это прекрасно!

– Что же тебя так радует? – Официант нервно осмотрел зал, словно прикидывая, куда ему направиться, где уже кончилось шампанское, где его ждут не дождутся.

– Ну, как что радует... Ты вот подошел, словечко обронил... Тем и счастлива! – Анжелика исправно отвечала на каждый заданный вопрос независимо от того, нравится он ей или нет. Но проскальзывала, проскальзывала в ее словах ирония, выдавая и острый ум, и не понятый еще никем характер.

– Словечками я готов осыпать тебя с утра до вечера, – вымученно произнес официант.

– Тогда уж лучше с вечера до утра! – лучезарно улыбнулась красавица Анжелика.

– Договорились, – официант кивнул, думая о своем, и отошел, подхватив поднос с шампанским.

Конечно, Анжелика почувствовала возникшую несуразность, неестественность. Слова прозвучали не совсем обычные, они требовали продолжения. И вот так оборвать разговор и отойти... В этом было что-то оскорбительное. Официант не нравился Анжелике, был он мелковат и телом, и чертами лица, и жесты его были какие-то суетливые, во всем его поведении постоянно сквозило стремление что-то скрыть о себе, боязнь, что его не так поймут или же поймут слишком хорошо.

Ощувив, что сделал что-то не так, Саша оглянулся и, хотя взгляд его оставался опасливым, изловчился послать Анжелике воздушный поцелуй, с трудом удержал равновесие и, перекошенный подносом с полными бокалами, двинулся дальше напряженной вздрагивающей походкой, как человек, который несет неподъемную тяжесть, но делает вид, что для него это сущие пустяки.

Проводив его взглядом, Анжелика занялась барменскими обязанностями, возложенными на нее в этот вечер, тут же забыв неприятного Сашу. Она свое дело сделала – произнесла игривые слова, улыбнулась, как могла, и пусть катится ко всем чертям собачьим! Козел вонючий!

И в этот момент некоторые гости ощутили – что-то изменилось. Вряд ли кто смог бы объяснить, в чем дело, ничего явного, видимого не произошло. Может быть, потянуло сквозняком, свежим воздухом с ночного неба, может быть, прозвучали какие-то шумы, которые сознание не уловило, чей-то вскрик или приглушенный стенами выстрел... И вот уже кто-то замолк на полуслове, отошел в сторону, кому-то захотелось выглянуть в окно и убедиться, что Луна на месте и город внизу тоже никуда не делся. Как бы там ни было, безоглядная легкость, рискованная шаловливость, игривая вседозволенность отошли в сторону, уступая место чему-то более жесткому.

Но ощутили этот холодящий сквознячок далеко не все, оживленный гул на этаже продолжался – звучали пьяные выкрики, визжали пожилые женщины, почувствовав себя юными

и соблазнительными, люди тянулись друг к другу с бокалами и объятиями, обливая друг друга вином и слюнями.

Вечер продолжался.

Смеялись и играли юными плечами невероятные красавицы, а гости, увидев их в таком количестве, в такой разнообразии, почувствовав их готовность шутить и обмениваться волнующими двусмысленностями, общаться легко и заходить в этом общении как угодно далеко, совершенно шалели, теряли головы и согласны были немедленно начать новую жизнь, неожиданную и прекрасную, полную любви и неописуемых наслаждений...

В этот момент резко и отрезвляюще прозвучала длинная автоматная очередь.

Истерично закричали женщины, посыпался хрусталь с люстр, смолк оркестр. Обернувшись на грохот выстрелов, гости с ужасом увидели картину, которую вряд ли когда-нибудь забудут. Из сумрака коридора быстро и сутоло выходили люди, одетые так, как могут одеваться живущие на свалках, под железнодорожными платформами, в пустующих аварийных домах. На некоторых красовались синие спецовочные халаты, другие были одеты в растянутые тренировочные костюмы, кто-то обнажен до пояса, один вообще оказался босым, но в громадных трусах на резинке. У каждого на груди висел автомат, к поясам были привязаны какие-то металлические сгустки, скорее всего гранаты.

Но самое страшное было не в этом – ужасали их лица. Они были не просто некрасивы, нет, на них невозможно было смотреть без содрогания – какие-то недогнившие мертвецы, у которых куски кожи и мяса отваливались на ходу, вампиры со струйками крови, стекающими из уголков рта, полусгоревшие Крюгеры с обнаженными зубами и посверкивающими белками, у некоторых лица казались чешуйчатыми, у других одутловатыми, как у утопленников, пролежавших в воде не одну неделю, они походили на прокисшее тесто...

Остановившись цепочкой в полумраке лифтовой площадки, взяв автоматы на изготовку, чудища замерли, не произнося ни слова. И эта мертвящая тишина была не менее жуткой, нежели само их появление.

Один из охранников нашел в себе мужество шагнуть к пришельцам, рука его потянулась к пистолету, но тут грохнуло сразу несколько выстрелов, и, дергаясь в предсмертных судорогах, бедняга рухнул на пол, заливая кровью ковер. Если до этого кто-то и допускал мысль, что все это шутка Цернцица, который в неумном стремлении позабавить гостей решил на подобное, то теперь испарились все надежды на благополучное окончание неожиданного появления мертвецов, вампиров, упырей и прочей нечисти.

Первым пришел в себя Цернциц.

Похоже, на него не слишком большое впечатление произвели покойницкие физиономии пришельцев, более того, он даже не очень и удивился происходящему, словно ожидал чего-то подобного. Озабоченно оглянувшись по сторонам, он присел и, пятясь, втиснулся задом в толпу оцепеневших от ужаса гостей. Вынув из кармана маленькую плоскую коробочку переговорного устройства, он едва успел откинуть крышку, прикоснуться к кнопкам, чтобы связаться с охраной на первом этаже, как прозвучала еще одна автоматная очередь, и ему на голову посыпались сверкающие осколки хрустальной люстры. Толпа испуганно отшатнулась и опрокинула Цернцица, он даже не успел произнести ни единого слова в свою коробочку. Однако в этом не было надобности – бдительный Стыщ в самом низу услышал из своего микрофончика грохот выстрелов и по их частоте понял – из автомата палят.

– Хлопцы! – крикнул он, на ходу вырывая пистолет из-за пояса. Подбежав к лифту, он нажал кнопку вызова. – Там шось трапылось!

Охранники не заставили себя ждать, и, едва распахнулись двери кабины, все бросились внутрь, и уже через несколько секунд набитая плотными телами кабина скоростного лифта рванулась вверх. Пока ехали, успели снять предохранители, передернуть затворы – пригото-

вились дать бой быстрый и беспощадный. Мелькали световые кнопочки – указатели, верхний этаж приближался быстро и неотвратно, кабина мчалась, не останавливаясь.

Толпа окаменевших в ужасе гостей невольно выдала торопящихся на помощь спасителей. Несколько сот людей, столпившихся перед лифтовой площадкой, одновременно уставились на световое табло, которое показывало, на каком этаже в данный момент находится кабина. Замогильные пришельцы, едва взглянув на мелькающие цифры, сразу сообразили, в чем дело.

И только сейчас обнаружилось, что у них есть главарь. Он был невысок ростом, весь какой-то нервный, дергающийся, поминутно поворачивался во все стороны, и автомат, висевший у него на животе, поворачивался вместе с ним, упираясь стволом именно в того человека, на которого смотрел хозяин. Более того, ствол, кажется, наводился автоматически в ту самую точку, куда был устремлен взгляд главаря. На голове у главаря красовалась черная шляпа с широкими полями, а лицо представляло собой какое-то белесое пятно, покрытое трупными пятнами.

Решение он принял в течение одной секунды – затолкал своих покойников за спины гостей, сам тоже втиснулся в толпу, так что наружу торчал только ствол автомата.

Бегущие на табло цифры замерли – кабина прибыла на верхний этаж. Через секунду двери распахнулись. Стыц стоял с пистолетом на изготовку впереди, за ним толпились те самые существа, которым была поручена охрана Дома. Увидев толпу гостей и никого больше, охранники невольно опустили оружие, и в этот самый момент длинными захлебывающимися очередями разразился автомат главаря пришельцев. Стоя невидимо и неуязвимо за спинами гостей, он стрелял до тех пор, пока все охранники в кабине лифта не рухнули на пол.

Первые несколько пуль, судя по всему разрывных, принял в свою широкую грудь сам Стыц. Внутренность кабины представляла собой страшную картину – куча окровавленных, шевелящихся в агонии тел, из которых продолжала сочиться, бить тонкими струйками кровь.

Толпа подалась назад, не в силах выдержать кошмарного зрелища.

– Ага! – радостно взвизгнул главарь и бросился к лифту. Подбежав к самой кабине, он постоял, рассматривая гору трупов, и, убедившись, что живых среди них нет, поддал ногой безжизненную руку Стыца, которая все еще сжимала рукоятку пистолета. Заглянув внутрь, главарь нажал кнопку первого этажа. Двери захлопнулись, и кабина с чудовищным своим грузом провалилась вниз.

С некоторой картинностью главарь обернулся к парализованной страхом нарядной толпе гостей, посмотрел на всех сразу из-под шляпы жутковатым своим неживым взглядом и только сейчас заметил стоявшего рядом официанта с подносом. Какими-то крадущимися, стелющимися шагами он приблизился к нему, жеманно протянул руку, взял бокал и, запрокинув голову, выпил вино до дна. Перевернув бокал, он показал всем, что там не осталось ни капли, точь-в-точь как это делают тетеньки на семейных торжествах. И тут же, рисуясь, бросил бокал за спину. Упав на испанскую плитку, хрусталь брызнул мелкими искрами, расколовшись на тысячи осколочков.

– Вот так! – радостно выкрикнул главарь сипловатым голосом и резко шагнул к толпе. Все в ужасе расступились перед ним, а он продолжал двигаться той же игривой походочкой, рассекая толпу. – Раздайся море, говно плывет! – выкрикнул он непонятные слова, но было в этом возгласе столько торжества, столько неподдельной радости, что в нем можно было даже заподозрить живого человека.

Пройдя всю толпу и уперевшись в противоположную стену, он резко развернулся, покопался у себя под подбородком и одним движением сдернул с лица покойницкую маску. И все увидели довольно невзрачную физиономию землистого цвета. Оскалясь редкими желтоватыми зубами, физиономия торжествующе обвела взглядом толпу, и выражение при этом у нее было примерно такое, какое бывает у циркового клоуна, который, совершив отчаянный прыжок через голову, победно смотрит на публику – каково, мол?!

– Боже... Кто к нам пожаловал, – смятенно пробормотал Цернциц, не выходя из толпы. Главварь повернулся в ту сторону, но, видимо, слов не услышал и потому успокоился. Вслед за ним сняли маски и все пришельцы, обнажив небритые, помятые, несколько растерянные лица.

– Приветствую честную компанию! – сказал главварь и поклонился. – Аркадий Константинович Пыёлдин! Прошу любить и жаловать! Вопросы есть?

Гробовое молчание было ему ответом.

– Вопросов нет, – удовлетворенно произнес он и резко повернулся к Анжелике, которая все так же стояла за стойкой бара. – А ты чего лыбишься?

– Положено. – И Анжелика улыбнулась еще радостнее.

– Не понял?

– Работа такая. Я обязана лыбиться.

– Да? – удивился Пыёлдин. – Тогда ладно.

– Можно продолжать?

– Не понял? – Склонив голову к плечу, Пыёлдин с подозрением посмотрел на Анжелику снизу вверх.

– Я могу продолжать улыбаться?

– Можешь. Продолжай.

– Мне платят именно за то, что я улыбаюсь.

– Хорошо платят?

– Могли бы и больше.

– Добавлю, – сказал Пыёлдин с таким выражением, словно наконец-то уяснил для себя что-то важное. – За мной не заржавеет. Как зовут?

– Анжелика.

– Да? Ну, хорошо... Можешь оставаться Анжеликой. Мне нравится. А меня зови Кашей.

– Каша? – удивилась Анжелика. – Каша – женского рода... Лучше я буду звать тебя гарниром... Не возражаешь?

– Возражаю. Я – Каша. И запомни это. Только Каша. Вопросы есть? Вопросов нет. Что у тебя на голове?

– Корона.

– Настоящая?

– Да. Я первая красавица мира.

– Прямо-таки первая? – Пыёлдин задержался взглядом на Анжелике, помолчал и добавил будто про себя: – Похоже на то... Где хозяин?

Едва услышав этот вопрос, гости безжалостно, даже с каким-то угодливым наслаждением вытолкнули прячущегося Цернцица вперед. И как тот ни упирался, стремясь остаться в толпе, это ему не удалось. Но, оказавшись лицом к лицу с Пыёлдиным, Цернциц повел себя гораздо мужественнее, чем можно было ожидать. Он поправил галстук, пригладил волосы, одернул пиджак и посмотрел в глаза главварю почти спокойно, во всяком случае, твердо посмотрел.

– Фамилия? – спросил Пыёлдин.

– Цернциц.

– Церн... Как дальше?

– Циц.

– Надо же... – Приседая и поигрывая плечами, Пыёлдин обошел вокруг Цернцица, тот стоял, глядя прямо перед собой, и не проявлял никаких видимых признаков страха.

– А меня узнаешь?

– Узнаю, – ответил Цернциц, все так же глядя в стену перед собой.

– Кто я?

– Каша Пыёлдин.

– Помнишь, значит, Кашу? – удовлетворенно проговорил Пыёлдин, и в глазах его блеснула даже некоторая горделивость – вот так, дескать!

– Помню, – кивнул Цернциц.

– Так... А кого звали Ванька-дурак?

– Меня так звали, – ответил Цернциц все с тем же каменным выражением лица.

– За что?

– За дурость.

– И как? Правы были люди, которые так тебя называли?

– Да, они были правы. Я в самом деле дурак.

– Это твой Дом?

– Мой.

– Поумнел, значит?

– Со стороны виднее.

– Нет, Ванька, не поумнел. Дом был твой, стал мой. А?

– Так было всегда.

– Правильно. От себя добавлю – так всегда и будет. Согласен?

– Как скажешь, Каша, как скажешь.

– Уже сказал. Что же мне с тобой делать-то? Застрелить? Или в окно выбросить? Выбери.

– Не надо меня стрелять. И в окно выбрасывать тоже не надо, – твердо произнес Цернциц.

– Это почему же? – удивился Пыёлдин.

– Так не поступают.

– А как поступают?

– Сам знаешь.

– Да? – переспросил Пыёлдин. – Вообще-то да... Отложим. Потом решим.

– Отложим, – кивнул Цернциц.

– Весь цвет города собрал? – Он окинул взглядом молчаливую толпу и заметил, заметил все-таки, как женщины, осторожно, чтобы не привлечь внимания, снимают ожерелья, вынимают из ушей серьги с бриллиантами, как мужчины снимают с рук часы и засовывают их в носки.

– Почти весь... Тебя вот не позвал. Но ты сам пришел.

– А я всегда так, разве нет?

– Да... Насколько я помню.

– Начальник тюрьмы здесь?

– Здесь.

– Давай его сюда. Начальник тюрьмы-ы-ы! – пропел Пыёлдин, оборачиваясь к молчащей толпе. – Выходи, дорогой, давно не виделись... Пробил час.

– Выходи, Суковатый, – подавленно сказал Цернциц. – Чего уж тут... Не уберег Кашу – сам виноват.

– Не уберег, – ухмыльнулся Пыёлдин и горделиво поправил автомат на животе.

Сквозь толпу протиснулся и вышел на свободное пространство полный, румяный от здоровья и выпитого человек с челочкой на лбу. Видимо, совсем недавно он отплясывал под саксофонное мурлыканье – челочка его была взмокшей, по щеке рывками стекала одинокая капелька пота.

– Здравствуй, начальник. – Пыёлдин радушно протянул руку, но тот не пошевелился. – Не хочешь подать руки?

– Не хочу.

– Не уважаешь, значит?

– Не уважаю. – Суковатый побледнел и напрягся.

– А почему? Разве я не заслужил твоего уважения? Такую вышку предложил соорудить, такое украшение для всей твоей непутевой жизни, а? Не уберег ты меня, не удержал. Перехитрил я тебя, начальник. Вокруг пальца обвел, как последнего дурака. Вертолет мне подал для личного пользования, о вертолетчике позаботился... И вот я на воле. Ведь читал в моем личном деле – рано или поздно я обязательно оказываюсь на воле.

– Я читал о том, что рано или поздно ты всегда оказывался на нарах, – негромко, но твердо проговорил Суковатый и жестко посмотрел Пыёлдину в глаза.

– Жизнь полосатая, – беззлобно улыбнулся Пыёлдин, – как тельняшка. А если бы я остался на твоих вонючих нарах, ты уважал бы меня больше?

Суковатый молчал, отвернувшись, и только круглые желваки то вспухали, то опадали под его гладко выбритыми красноватыми щеками.

– Глупый ты, начальник, очень глупый, – с сожалением произнес Пыёлдин. – Будь ты немного поумнее, разве захотел бы всю жизнь по собственному желанию провести в тюрьме? Нет, ты бы в кино снимался, со сцены чего-нибудь исполнял бы, дома бы строил, таксистом на худой конец промышлял бы... Очень ты глупый, начальник, не знаю даже, как тебе и помочь...

Суковатый резко повернулся к Пыёлдину, видимо, хотел сказать что-то гневное, но не успел – вдруг оглушительно грохнул выстрел. Суковатый вздрогнул, и в этот момент ему под ноги откуда-то сверху тяжело шлепнулось тело охранника. Рядом звякнул о плиты его автомат. Дернувшись несколько раз массивным своим телом, он затих, и только пальцы мясистых рук продолжали сжиматься и разжиматься, но это уже были движения неживого человека.

Видимо, охранник, до конца верный своему долгу, какими-то вентиляционными трубами пробрался на перекрытие зала, но неосторожно выдал себя. И когда Пыёлдин, услышав шорох, взглянул вверх, автомат его мгновенно устремил туда же свой черный взор. А выстрел, выстрел произошел уже как бы сам по себе, едва автомат нащупал цель. И тут все обратили внимание, что табло снова засветилось, замелькали светящиеся цифры – лифт приближался к верхнему этажу здания.

– Быстро! – сказал Пыёлдин, и, хотя больше не добавил ни слова, несколько его подручных тут же стали полукругом вокруг лифта, готовые автоматными очередями исполосовать всех, кто окажется в кабине. Наступила мертвая тишина, многие в толпе, не в силах выдержать напряжение, легли на пол и закрыли головы руками в надежде спастись таким нехитрым способом.

Но когда двери распахнулись...

Лифт оказался пустым. И его зеркала, пол, залитые кровью, производили еще более страшное впечатление, чем раньше, когда он был набит трупами. Оцепенение охватило всех – то ли полуживые люди нашли в себе силы вылезти из кабины там, внизу, то ли оставшиеся охранники выволокли своих товарищей и отправили лифт наверх? Но с какой целью?

– Что это они, тару подали? – весело рассмеялся Пыёлдин.

Никто не ответил, вообще в толпе не прозвучало ни единого звука, люди стояли, затаив дыхание.

– А у нас уже есть кого вниз отправить, да, начальник? – куражился Пыёлдин, описывая вокруг Суковатого круги. – Правда ведь, нам есть кого отправить? Что-то ты закручинился, что-то ты заскучал... А такой веселый был в кабинете, так смеялся, так радовался жизни, да, начальник? И кто бы мог подумать, что жизнь-то она, того, заканчивается, а?

Суковатый молчал. Теперь уже капли пота стекали по обеим его щекам, но он этого даже не замечал.

– Как же тебе удалось? – наконец выдал он из себя единственный вопрос.

– А! – Пыёлдин небрежно махнул рукой. – Все равно не поверишь!

– Я же тебя, Каша, как невесту берег...

– Какой дурак! Ты, оказывается, начальник, еще дурнее, чем я предполагал! Кто же сможет уберечь невесту, если она сама на сторону смотрит? Нет в мире таких сил! Вот я читал в старых книгах, что раньше ревнивые рыцари, уходя в дурацкие свои походы, у жен эти самые места в железо заковывали, заклепки ставили, пилы зубастые приваривали... И что? И ничего! – с восторгом воскликнул Пыёлдин. – Фигня это все! Приезжали рыцари из походов, а у жен уж детишки новые! Во как! – Скажи, красавица, – повернулся он к Анжелике, – я прав?

– Конечно! – Анжелика улыбнулась так радостно, что Пыёлдин далеко не сразу смог оторвать от нее взгляд, далеко не сразу.

– Ну, ты даешь, – пробормотал он растерянно, но тут же снова взял себя в руки. – Так, начальник... Карета подана, – Пыёлдин показал рукой на кабину лифта.

– Не понял... – еле слышно произнес помертвевший Суковатый.

– Врешь! – жестко отрезал Пыёлдин. – Все ты понял. Просто поверить не можешь, что пришел твой смертный час, сучий ты потрох! Все. В путь. Конец всегда бывает неожиданным. А ты еще повторял мне не один раз, что конец бывает... Каким? Ну, поднатужься, припомни, каким бывает конец?

– Закономерным, – с трудом произнес Суковатый.

– Правильно, начальник! И в свой смертный час ты сохраняешь ясность мышления, твердый рассудок и верность своим убеждениям. Одобряю. Оружие есть? – вдруг резко спросил Пыёлдин, оставив тон насмешливый и куражливый.

Суковатый молча просунул руку за отворот пиджака и, нащупав там рукоять пистолета, вынул его и протянул Пыёлдину. Готов он был выстрелить в своего бывшего заключенного, и ничто бы его не остановило, но понимал – не успеет. Пока передернет затвор, а ему бы раньше передернуть, когда прозвучали первые выстрелы, ему бы раньше снять предохранитель... «Эх!» – мысленно крикнул с досады Суковатый. А теперь ему ничего не оставалось, как под мертвящим взглядом автомата протянуть бандиту свое оружие. Видел он, как нервно дрожит указательный палец Пыёлдина на курке, видел и отчетливо сознавал, что малейшее его неосторожное движение – и через мгновение дюжина пуль окажется у него в груди.

Пыёлдин взял пистолет, повертел перед глазами и передал кому-то из своих. Раздумчиво посмотрел на Суковатого.

– Хорошо себя ведешь, начальник... Мне нравится.

– Рад стараться.

– Не перегибай, – улыбнулся Пыёлдин, показывая неважные свои зубы, явно нуждающиеся в починке. – Не надо. Ты меня знаешь... Невыдержанный я... Опять же, обстановка у нас не очень... Нервная.

– Без тебя здесь было ничего.

– Со мной, без меня... Какая разница? Знаешь, какое расстояние от любви до ненависти?

– Шаг.

– Дурак. Никакого шага нет. Они впритык идут. А на границе, там, где они соприкасаются, любовь и ненависть сливаются во что-то одно... И никто не знает, что это... Нет между ними расстояния. И различия нет. Понял?

– Пытаюсь.

– Еще любовь не кончилась, а уж ненависть началась... Эта ненависть и отравляет, и обостряет любовь... И никто, начальник, не может сказать, где кончается любовь и начинается ненависть. Никто не может определить, когда ненависть кончилась и уже пошла, пошла родимая – любовь. Верно говорю? – повернулся Пыёлдин к Анжелике.

– Ой, Каша... Какой ты умный!

– Да? – недоверчиво спросил Пыёлдин.

– Ты же и сам знаешь!

– Ну, ладно... С тобой мы еще разберемся. – Пыёлдин с трудом отвел глаза от Анжелики. – Значит, так... Скажи спасибо этой красавице... Она смягчила мое сердце, уставшее от злобы и несправедливости... Красиво говорю?

– Слушал бы и слушал, – ответил Суковатый.

– Остановись, начальник, не надо... Ты бы со мной так никогда не поступил, а я с тобой вот поступаю. Великодушно. Как еще можно сказать? Ну, поднатужься, подумай... Как я с тобой поступаю?

– По справедливости?

– Нет. По справедливости ты уже пять минут назад должен лежать рядом с этим хряком, – Пыёлдин ткнул ногой мертвого охранника. – Я с тобой поступаю несправедливо. Но ты будешь этому рад. Значит, так... Бери за ноги этого борова и волоки в лифт.

– Хочешь хлопнуть там?

– Тю, дурной! – рассмеялся Пыёлдин. – Повезешь груз, – он показал на охранника. – Лично. Предупредишь охрану – сюда соваться не надо. Каждая их попытка будет стоить жизни десяти заложникам, – Пыёлдин кивнул в сторону гостей, которые, затаив дыхание, ловили каждое его слово. – Десять человек в таком примерно состоянии, в каком пребывает этот несчастный охранник, загружаю в лифт и отправляю вниз. На предмет выгрузки и достойных похорон. В полном соответствии с личными заслугами каждого. Вопросы есть? Вопросов нет.

– Они блокируют лифт, – негромко сказал Цернниц.

– Ни в коем случае! Он им самим нужен. Для связи. Лифтом мне будут записочки посылать, требования всякие, угрозы, предупреждения, просьбы и мольбы... Я тоже им буду записочки посылать... С требованиями, угрозами и мольбами... Лифт нужен обеим сторонам. А если они его блокируют... Ну что ж, пусть ловят заложников внизу... У этого Дома хорошая высота. Знаешь, чем она хороша? – спросил Пыёлдин у Цернница.

– Видно далеко?

– И ты, Ванька, тоже дурак. Человек, выброшенный из окна семьдесят какого-то этажа, к земле подлетает уже мертвым. И, таким образом, он избавлен от тяжких, непереносимых страданий. Сердце его разрывается от ужаса где-то на уровне пятидесятого этажа... Усек? На асфальт падает уже не человек, падает мешок мяса и костей. Вопросы есть? Вопросов нет. А ты чего ждешь? – обратился он к Суковатому. – Тащи хряка в лифт, – он снова ткнул ногой мертвого охранника. – Повторяю – осади охрану. Иначе... Как это в песне поется... Летите, голуби, летите... Как там дальше? Народам мира отнесите наш братский пламенный привет! Надо же, вспомнил! – восхитился собственной памятью Пыёлдин. – И еще тебе задание... Раззвони на радио, телевидении, в газеты, своим приятелям и приятельницам... Знаю, есть у тебя приятельницы среди заключенных... Некоторые просто необыкновенной красоты, верно? Не столь, конечно, – Пыёлдин бросил быстрый взгляд на Анжелику, – но тоже ничего... А тебе других и не надо... Так вот, пусть и там знают – получилось у Каши, все получилось. А если кто в штаны наложил, пусть срок свой досиживает, пусть на нарах догнивает. Вопросы есть?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.